

Б И Б Л И О Т Е К А

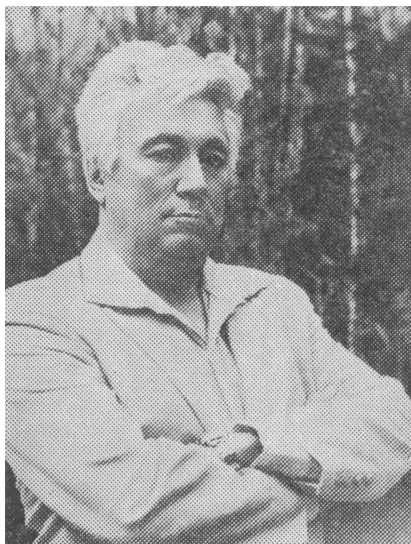
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 34

1985



Юрий НАГИБИН

**ПОСЛАНЕЦ
ТАИНСТВЕННОЙ СТРАНЫ**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 34

Юрий НАГИБИН

**ПОСЛАНЕЦ
ТАИНСТВЕННОЙ СТРАНЫ**

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1985

Юрий НАГИБИН

Юрий Маркович Нагибин родился в 1920 году в Москве. Первый рассказ Юрия Нагибина появился сорок пять лет назад в журнале «Огонек»; он назывался «Двойная ошибка» и был посвящен судьбе начинающего писателя.

После короткого пребывания в медицинском институте Ю. Нагибин перешел на сценарное отделение Всесоюзного государственного института кинематографии. В начале 1942 года ушел добровольцем на фронт и до февраля 1943 года находился в рядах действующей армии на политработе. Был контужен и по выздоровлении до конца войны работал военным корреспондентом газеты «Труд».

Первые сборники рассказов Ю. Нагибина «Человек с фронта» и «Большое сердце» вышли еще в дни войны. Всего им издано более сорока сборников рассказов и двенадцать повестей. В 1980—1981 годах издательство «Художественная литература» выпустило собрание сочинений Ю. Нагибина в четырех томах.

Ю. Нагибин сделал вольный пересказ лесной сказки Ф. Зальтена «Бемби», ныне ставший фильмом. Свои критические работы, публицистику, литературные раздумья писатель собрал в книгу «Не чужое ремесло».

Начиная с 1956 года Ю. Нагибин много и плодотворно работает в кино. По его сценариям поставлено более трех десятков фильмов, среди них: «Председатель», «Ночной гость», «Самый медленный поезд», «Бабье царство», «Директор», «Чайковский» (в соавторстве), «Поздняя встреча», «Дереу Узала» (премия Оскара), «Загадка Кальмана» и др.

ПОСЛАНЕЦ ТАИНСТВЕННОЙ СТРАНЫ

Сергеев возвращался из клуба Научного городка, находившегося километрах в пятнадцати от его загородного жилья. Легковой машины не оказалось, и его отправили домой в служебном автобусе, не уступавшем размерами рейсовому. Пустой автобус гремел, громыхал, подпрыгивал на щербинах и неровностях шоссе, раскачивался из стороны в сторону, будто его трепал свирепый сухопутный шторм. Когда они добрались до поворота к писательскому поселку, Сергеев попросил водителя высадить его, хотелось скромнее обставить свое возвращение домой: зачем столько шума, треска, дизельной вони, зачем населять тихую зеленую улицу неуклюжей громадиной, которая будет долго реветь, газовать, смердеть, ворочаться, ломая протянувшиеся из-за оград ветви плакучих берез и поздно зацветшей черемухи, чтобы развернуться на узкой дороге, — сквозного проезда не было.

К тому же хотелось перевести дух, собраться нацельно после трехчасового дерганья, когда тебя алчно расспрашивают о тайнах мироздания, о прошлом, настоящем и будущем, словно жалкий бумагомаратель действительно знает что-то скрытое от других смертных, пытаются жгучими нравственными вопросами и со странным сознанием своего права вторгаются в интимную жизнь.

И все же его душевная смута объяснялась другим. Неприятно уколол вопрос: что вы думаете о сегодняшней молодежи? Вопрос был не нов, и ему чаще всего предпосылались лестные для Сергеева слова, что, мол, вы помогли сохранить образ московского детства двадцатых — тридцатых годов и предвоенной юности, почему же сегодняшняя молодежь отсутствует в ваших книгах? Обычно он уходил от прямого ответа, обманывая скорее самого себя, нежели аудиторию, а тут впервые сказал без обиняков: потому что я не знаю сегодняшней молодежи. И от правдивого этого ответа остался струп на кончике языка.

Когда он вышел из автобуса, разом посмерклось, ночь наступила мгновенно, чего не должно быть в июне. Обычно день истает медленно, он брезжит и в одиннадцатом часу вечера, когда давно уже отгорел закат, тени на земле почернели, уплотнились, слились, но высокое небо по прежнему светло стекленеет и ласточки, доверяясь его свету, промелькивают в вышине, хотя им давно пора спать в своих глиняных гнездах. Сейчас небо затянуло, и ничто не мешало подымающейся от земли тьме завладеть пространством.

Сергеев двинулся по едва различимому под ногами шоссе, сперва краем фабричного поселка, потом через поле, поглощенное темнотой и напоминающее о себе тягой свежего ветерка. Ему хотелось понять, когда же он сам потерял молодость, превратился в человека другой эпохи. Он очень долго оставался молодым, отчасти из-за войны, которая одним оборвала молодость, другим ее продлила.

Вернувшись с фронта двадцатичетырехлетним, он начал все сначала: институт, студенческие заботы, студенческая нужда и студенческая бесшабашность. Как и другие бывшие фронтовики, вновь ставшие студентами, он соединился с молодостью не затронутого войной поколения восемнадцатилетних. И вскоре весьма уютно почувствовал себя в этом чужом мире, поскольку не тащил туда войну.

Такое удавалось далеко не всем, да и не все к этому стремились, а ему удалось. Его шальная послевоенная жизнь была молодой жизнью; боль, печаль, жестокий и горький опыт отступили под напором неизрасходованных, жадных сил. И любилось до упаду. И читал взахлеб, и учился здорово, и ни от какой работы не бегал. Все — в край, но он не расстрачивался в этом, а будто полней и крепче становился.

А потом началась литература, и в ней та новая, странная и неизбежная молодость, в которой так прочно консервируются новобранцы отечественной словесности. Хочешь быть до старости молодым — ступай в писатели! Ну а серьезно?..

Ощущение неугасшей молодости поддерживалось в нем долгой возней с минувшим. Он так старательно тянул в настоящее переулки своего детства, гулкие московские дворы своего детства, дождливое подмосковное лето своего детства и все милые образы, что, сам того не замечая, существовал в каком-то искусственном двойном бытии, где сквозь размытые контуры сегодняшнего резко и отчетливо проступали черты прошлого. Так бывает, когда на один и тот же кадрик фотопленки сделаешь по ошибке два снимка.

Его писание не было мемуарным, тогда бы сохранилось чувство расстояния, а с ним и чувство возрастного сдвига. Нет, он жил в этом призрачном мире, принимая его за действительный, жил горячо, заинтересованно — былыми счетами, отношениями, увлечениями, обидами, радостями, не позволяя себе стать взрослым. Иногда казалось, что иллюзорный этот мир совпадает с молодым миром

сегодняшнего дня, но затем он убедился, что его писания, как и сам он весь, представляют интерес лишь для его седеющих сверстников, а для «теперешних» он давно стал ископаемым, а его песни чем-то вроде забытых русских романсов.

Ныне Сергеева все чаще достигали шумы и веяния незнакомого мира, проросшего сквозь его казавшийся вечным и неизменным порядок. Непонятный птичий язык тревожил ухо, рассеянно пронизательные, будто издаലെка, даже если в упор, взгляды ожигали лицо безжалостной отчужденностью, он испытывал странное смущение перед этой жизнью, боялся ее, не признаваясь в том и самому себе, спешил укрыться в свое привычье, в котором можно спокойно дожить. В том-то и дело, что дожить. Какое отвратительное слово! И, защищаясь от него, Сергеев стал считать «теперешних» узурпаторами дивной страны молодости, которая навечно была вручена его поколению, но коварно похищена, когда усталые солдаты задремали. «Я не знаю нынешнюю молодежь, да и знать не хочу!» — проговорил он вслух и даже сдержал шаг.

— Ой, господи, как напугал! — раздался неподалеку от Сергеева показавшийся знакомым женский голос, довольно звонкий, хотя и немолодой, отчетливо интонированный и все же выдававший в своих рассчитанных модуляциях, что владелица его не боится ни бога, ни черта.

Так оно и оказалось: то была соседка Сергеева — вдова недавно скончавшегося старого литератора.

— Чего же вы так напугались? — спросил Сергеев в слабой надежде, что искусственный ее испуг вызван не его громогласным и глуповатым в ночной пустынности заявлением.

Женщина приблизилась, темнота не мешала видеть ее осунувшееся, будто сползшее с костяка лицо и большие глаза, недобро поблескивающие в глубоких провалах. Она сразу и резко сдала после смерти мужа. Казалось, у нее была одна цель: донести остатки своей редкой красоты до его кончины, а там сбросить износившуюся личину и с презрением явить миру безнадежно старый, нищий образ. Умирающий унес ее последнюю красоту, с кладбища возвращалась шекспировская ведьма.

Когда-то, еще в довоенные времена, она была официанткой в Доме журналиста и звали ее Феня. Но девушка, приехавшая в Москву из тамбовской глубинки, быстро сообразила, что с таким именем в столице не проживешь, и по обыкновению тех лет метнулась в крайность. Теперь всем желавшим познакомиться с ней, а в таких не было недостатка, она протягивала дощечкой крупную руку и выпаливала, округлив глаза:

— Флора! — и робко поясняла: — Знаете, есть такой цветок.

И вот тогда далеко не юный военный мемуарист, участник гражданской войны, носивший орден Красного Знамени по обычаю

революционных лет на алом матерчатом кружочке, влюбился в Феню-Флору и сделал своей женой. В его оранжерейном тепле она расцвела редкостным цветком, удивительно быстро усвоив все хорошее и кое-что дурное, что было присуще новой среде. И странно, окружающие знали о ревнивой, иступленной любви старого мемуариста к жене, но никто не верил в ее ответное чувство. Считалось: устроила жизнь. Дело было не в разнице лет, кого этим удивишь! И даже не в том, что мемуарист сочетал топорную внешность с необузданным, нетерпячим нравом и грубо-вызывающим поведением,— в кавалерийской атаке он, случалось, надвое разымал саблей врага, в литературе ему такие удары не давались, он бил обычно по касательной, и это испортило ему характер. Причина общего неверия была в очаровании самой Флоры, которой все желали лучшей участи, на худой конец отрады и утешения. Не хотелось верить, что аромат этого цветка безраздельно обоняет губчатый нос старого рубаки. Но Флора, очевидно, знала совсем другого человека, чем все окружающие, ей тянуло от него ковыльной степью, бесшабашной храбростью, литой силой и беззаветной любовью. На поминках Флора, уже превратившаяся в парку, лишь щеки странно алели, обвела застолье огромными ненавидящими глазами и сказала тост:

— За последнего мужчину!.. Осталась мошкара.

И тогда все запоздало прозрели...

— Чего я испугалась? — произнесла Флора в своей новой, смиренно-беззащитно-злой манере, и в звонком ее голосе странно пробились отзвуки командирского сорванного тенора покойного. — Да вас, кого ж еще? Я всех людей боюсь. Не зверей, не змей, не привидений, только людей, живых человечков боюсь пуще смерти.

Это говорилось нарочно для Сергеева, чтобы задеть и вызвать на беспредметный спор, в котором верх всегда одерживает тот, кто говорит гадости. В другое время Сергеев все равно завелся бы, но сейчас в нем дотаивали другие мысли, и он не взял приманку.

— Почему пешком? — спросил он. Флора всегда любила крутить баранку,— бывший кавалерист так и не подчинил руке стального коня,— а сейчас ее привязанность к машине стала маниакальной, она словно хотела умчаться от своей потери, боли, дум, от самой себя.

— А я не из Москвы. Звонить на почту ходила. Небось знаете, как междугородную ждать... Вышла — ни зги, поджилки так и трясутся. Ну-ка кто из-за кустов прынет. Ох!.. — на этот раз с неподдельным испугом вскричала Флора, шархнувшись от возникшей из орешника темной фигуры.

Сергеев подхватил ее под локоть. Он и сам невольно вздрогнул, хотя не боялся людей ни днем, ни ночью, ни в поле, ни в лесу, ни на пустынной дороге, ни в глухом переулке. Не из чрезмерного доверия к людям или веры в свою защищенность — просто не боялся, без всяких оснований.

На бетонку с неприметной в зарослях и тьме боковой тропки выметнулся кто-то в брючках, узенький, subtilный, но не малый ростом, длинноволосый. Девушка в джинсах? Нет, юноша, почти мальчик, с мокрыми, облепившими худенькое, тонкое лицо волосами.

— Не знаете, как в санаторий пройти? — спросил он не совсем переломившимся голосом, прозвучавшим чуть встревоженно.

— Тут много санаториев, — сказал Сергеев.

— Ну, где больные дети... сердечники.

— Так бы и говорил. Иди прямо по дороге, никуда не сворачивай. Войдешь в поселок — там будка и поднятый шлагбаум, ступай дальше, до перекрестка и налево. Упрешься в железные ворота, они не заперты. Санаторий направо, за деревьями видны корпуса.

— Сложно чего-то... — сказал подросток. — Я тут днем был — сразу нашел, а сейчас ничего не узнаю.

— Да нет, это просто. До перекрестка — все прямо. Потом — к воротам и по аллее.

— А вы не туда идете?.. Можно, я с вами?

— Пошли.

— Ми-и-лай!.. — протяжно, с незнакомым Сергееву простонародным выражением сказала Флора. — Да ты же мокрый весь. Это где же тебя угораздило?

Оттого и казался он таким subtilным, что мокрые рубашка и брюки облепили его худое тело.

— Искупался, — небрежно бросил парнишка. — Закурить не найдется?

— Некурящие, — сказал Сергеев. — Да и тебе не советуем.

Парнишка пренебрежительно усмехнулся.

— Это кто ж в одежде купается? — тем же теплым сельским тоном продолжала Флора, обернувшись Феней.

— Да глупо вышло, — с досадой сказал парнишка. — Рано с автобуса прыгнул, думал путь сократить. Попал к речке, моста не видать. Решил так переправиться. Швырнул свой чемоданчик, — он приподнял и показал плоский черный «дипломат», — и не добросил. Что было делать — нырнул за ним, как есть.

— Тебе бы раздеться раньше, а потом кидать, — заметил Сергеев.

— Чего?.. Ну, да! Не сообразил — башка дурная!

— Что же ты так? — усмехнулся Сергеев.

— Да молодой еще! Нешто молодые рассчитывают? — вмешалась Флора.

Парнишка благодарно глянул на нее в темноте. Он понял, что его поймал этот седой, с тяжелым дыханием, добродушный на вид дядька, и удивился, почему со взрослыми всегда попадаешь впросак?

«Неужто вострая Флора не догадывается, что он врет?» — подумал Сергеев. Парнишка вышел к реке, к излучине, где местные ребята ловят раков. Пижонский вид этого столичного жителя с модной

прической и черным чемоданчиком вызвал праведный гнев у юных раколовов из бойцового племени чубаровских ремонтников, и они его «макнули», как и принято поступать с неосторожными городскими зашельцами, то есть швырнули в заросшую кубышками Московку во всей амуниции, с судорожно сжавшимися на металлической ручке «дипломата» пальцами. Видать, он не слишком сопротивлялся, иначе придумял бы другую, более героическую ложь.

Поймать мальчишку на вранье было почему-то приятно, а вот себя на мелком злорадстве — противно. Из сочетания этих двух чувств возникло недоброжелательство.

А Флора, колючая, раздраженная, считающая весь свет повинным в ее нынешнем одиночестве, отнеслась к парнишке с несомненной симпатией. Она расспрашивала его о том о сем. Парнишка сообщил, что он москвич, а сейчас направляется к теще.

— К кому? — опешила Флора.

— К теще, — повторил он спокойно.

— Сколько же тебе лет?

— Семнадцать. Я уже школу кончаю.

— Мальчишка, школьник — и уже теща!..

— Вы не поняли Я с ее дочкой гуляю. Значит, по-нашему, теща.

— Надо же! А я решила, что ты женат.

— Ну что вы! Моей бабе всего шестнадцать. Я скоро аттестат получу, а ей еще год мучиться.

— А как ее мать к тебе относится, жених?

— Тетя Поля? Она наша соседка, с одного двора. Сейчас тут уборщицей устроилась — на лето. Вот приду, все сухое мне даст, чаем с малиной напоит.

— Слушай, герой, — сказала Флора. — Ты в сердечном санатории, а куришь, в мокром шляешься, разве это дело?

— Да не я — Танька. У нее сердце от роста отстает. Перебои, аритмия, в общем. Потом пройдет.

— Конечно, пройдет, — сказала Флора. — Акселерация, знаешь такое слово?

— Знаю. Это когда с каланчу. Танька не такая длинная. Чуть повыше меня.

— Нормальный современный рост. Только бы дальше не пошла.

— Не пойдет, — заверил парнишка. — Она с этим завязала. Вот я еще маленько прибавлю.

— По-моему, в школе как раз экзамены? — вспомнил Сергеев.

— Ага. У меня завтра математика.

— И это ты т а к готовишься?

— А чего готовиться? Я математику все равно не знаю. Вытянут на троечку.

— Как это «вытянут»?

— Как всех, так и меня. По математике вытянут и по физике

вытянут, я ее сроду не учил. Химию сам на пятерку сдам, остальные — на четверки и тройки. Волноваться нечего. Обязательное десятиклассное образование. Можно вовсе не учиться. Все равно аттестат должны дать, на второй год не оставят.

— А вот мы учились,— тихо сказал Сергеев. — Нас не вытягивали.

— Правильно,— сказал парнишка.— Вы десятилетку кончали, чтобы дальше учиться. А я хотел после восьмого работать пойти. Мать пожалел — мечтала, чтобы я все десять кончил. Небось о вузе думала, но это уж маком! Вот и потерял два года. Да я, что ль, один...

Нельзя отказать ему в честности — он вовсе не старался выглядеть лучше, чем был. И наврал он лишь раз, в самом начале, но разве можно требовать от семнадцатилетнего юноши, Ромео, спешащего к Джульетте, признания, что его «макнули»?

— Какую же ты себе выбрал профессию? — спросила Флора.

— Отцову,— сказал он как о чем-то общеизвестном, что не нуждается в уточнении.— Если б двух лет не потерял, уже бы отплясал в учениках.

— А кем работает твой отец?

— Слесарем.

— И сколько получает?

— Двести. У него шестой разряд.

— Жить можно.

— Конечно. Только он алименты платит,— сочувствуя тяготам отца, сказал парнишка.

— Значит, у него уже была семья?

— Была. Мы с матерью. Он за меня платит.

— Вон что! — чуть озадачилась Флора.— Но ты же работать пойдешь?

— Ага. Теперь ему легче будет. У меня там две сеструхи-близнецы и бабка старая.

— А ты с отцом часто видишься?

— Часто — не сказать, а вижу. Он заглядывает, я к нему на завод хожу.

— А он не хочет, чтобы ты дальше учился?

— Это на инженера, что ли? Пять лет мучиться, и на сто десять?..

Отец мне не враг.

«А как же с мечтой? — подумал Сергеев.— До чего ж расчетлив и бесплотен этот посланец из таинственной страны юности! Неплохой, видать, парень, и труд уважает, но почему ему не хочется шагнуть дальше, чем его отец? Экая трезвость в семнадцать лет. А может, я чего-то не понимаю? Не уследил за переоценкой ценностей. В моем детстве слово «инженер» звучало и значительно и романтично, оно было как пропуск в будущее. Мои родители крепко опечалились, когда поняли, что я не стану инженером. Но сейчас во всем мире молодежь увлекается рукоеслом. Хорошие, умные ребята стремятся делать что-

то руками. Им кажется, да так оно и есть, что это дает внутреннюю свободу. Что может быть честнее и лучше «потной работы»?.. И все-таки хочется, чтобы молодой человек стремился к чему-то несбыточному. К чему?.. Полететь на Юпитер или пожать руку инопланетянам, которые, может, еще противнее нас?... — И Сергееву стало грустно.

Они ступили на мост через речку.

— Угораздило меня — с чемоданчиком!.. — знобко сказал парнишка, вспомнив о своем купании. Но его передернуло не от вида холодной воды, а памятью испытанного унижения.

— Замерз? — спросила Флора. — Ты, если чего... Может, спит уже твоя теща, не достучишься... Давай ко мне: Кленовая аллея, семнадцать. И чаем напою, и варенье найдется, и подштанников теплых — хоть завались.

— Спасибо. Только тетя Поля не спит. Она знает, что я обязательно явлюсь. Живой или мертвый! — Шутка понравилась ему, он хорошо, доверчиво рассмеялся.

Река с ее свежим холодком минула, и путников втянула пахучая — цвели черемуха и бузина — теплая, густая тьма поселковой аллеи.

— Ага! Вон будка и шлагбаум — все как обещано! — Бодрость его была напускной, он и сейчас не признал места, где ему случилось быть только днем.

— Мы тебя проводим, — сказала Флора.

— Да не надо... Что я маленький? Неудобно!

— Неудобно знаешь чего? — прервала Флора.

— Знаю, — засмеялся тот.

Печально, с собачьим подвывом проскрипели ржавые ворота.

Парнишка чувствовал, что злоупотребил добротой незнакомых людей, и шутливостью скрывал смущение. При этом он по-прежнему не знал, куда идти. В конце длинной аллеи творилась какая-то смутная, сомнительная жизнь, не имеющая отношения ни к санаторию, ни к его обитателям с больными сердчиками, ни к тем, кто их лечит и кто им служит, — грубая, бесцеремонная жизнь здоровых людей, соединенных вином и любовными намерениями.

— Туда не надо, — махнул рукой Сергеев. — Давай прямо через забор, выйдешь к гаражам.

— Понял, понял! Спасибо! До свидания!

Слабый свет разлился в просторе, из бесформенной тьмы четко выступили деревья, штакетник, кусты рябины вдоль аллеи, небо отделилось от земли, и в прорывах меж оконтурившихся облаков затеплились звезды. Взошел невидимый за порослью месяц.

Сергеев впервые по настоящему разглядел парнишку — его тонкую, узкую фигурку в не просохшей еще одежде, худенькое, облепленное длинными волосами незагорелое лицо, будто навощенную

горбинку носа,— хрупкое и самостоятельное лицо юноши, которому не будет легко в жизни. А затем парнишка повернулся, исчез в тени кустов, вновь возник у штакетника и пропал на той стороне.

— Пошли,— сказал Сергеев.

— Больно вы быстрый! А ну-ка пристанет кто? — сердито отозвалась крестьянская мать Феня.

Покойный муж создал ей счастливую жизнь, но оставил лишь имущество, тоску и черты своего волевого, скверного характера, он не дал ей дитя и всезаменяющую материнскую заботу.

А месяц быстро набрал силу, и освобожденный им от оцепенелости межвременья мир очнулся для ночного очарования: заискрился, взблеснул, заструился ароматной свежестью, смывшей то дурное, что ворошилось в не осознавшем себя пространстве.

Сгнули возня и нечистый шум в конце аллеи, прозрачная тишина обьяла мирозданье, и в эту тишину упал легкий девичий вскрик:

— Наконец-то! — будто взмахнул кто белым платком по ту сторону штакетника.

А затем они услышали жалкий, захлебывающийся голос своего знакомого:

— Ты что?.. Босая? В одном платьишке? Очумела? Давно в постели не валялась?

— Тут люди с ума сходят! — Обида на миг взяла верх в душе маленькой женщины.— Ишь, явился не запылится! — И вдруг испуганно: — Почему ты весь мокрый?

— В речке искупался... Потом расскажу Что ж нам делать? На руки тебя взять — ты хуже от меня простудишься...

— Я от тебя не простужусь. Тебе слабо меня поднять... Не надо! Слышишь? Ты холодный, как лягушка.

— На, хоть туфли надень. Они просохли.

— Да ладно!

— Ничего не ладно! Как только тебя мать пустила? Ох и волю я теще!

— Глупый! Я через окно.

— Ну разве можно? — тосковал парнишка.— Хочешь опять свалиться. Давай бегом! Да тебе бегом нельзя... А, черт!

— Перестань! Ты где шлялся?

— Не шлялся я. Клянусь!

Благословенной я луной клянусь,

Что серебром деревья обливает...

Девушка прервала:

— О, не клянись изменчивой луною,

Что каждый месяц свой меняет лик,—

Чтобы любовь изменчивой не стала.

— Но чем же клясться?

— Не клянись совсем;

Иль, если хочешь, прелестью своею,
Самим собою, божеством моим —
И я поверю...

— Как прекрасно!.. — прошептала Флора.

«А что ей послышалось? — подумал Сергеев. — Объяснение у плетня ее молодых лет или тот последний и решительный бой, в который кинулся за нее старый кавалерист с седыми, как ковыль, волосами? Прозвучала же мне соловьиным поединком Ромео и Джульетты телеграфная краткость современного сленга: «Ну, чего ты?», «Ладно тебе!»... Наверное, и настоящие Ромео и Джульетта разговаривали не так, как у Шекспира, но он сумел услышать высшую поэзию в их неискусных речах. И сейчас звучала та же нота — нежная, высокая, звенящая. И ее уловило тоскующее сердце старой одинокой Флоры. Ах, Флора, Флора, — вздохнула в нем душа. — И правда, есть такой цветок, и цветок этот — вы!..»

— Ну все? — произнес он вслух.

Женщина не ответила и сразу пошла назад. Сергеев последовал за ней. У ворот он оглянулся — за штaketником никого не было.

А все-таки он заглянул в таинственную, неведомую страну, и там был свет...

МОРЕЛОН

В тот день я с раннего утра слонялся по нашему поселку, опустевшему с приходом осени. Было бабье лето — мягкое солнце прочно стояло в голубом высоком небе, клейкие нити паутины реяли в горьковатом воздухе. Но для меня эта благодетельная пора обернулась нарушением дыхания. Так неизменно в последние годы отрываюсь я на стыкование времен года. Противное и мучительное ощущение. Дышишь нормально: глубоко и мерно, а воздух не проходит в грудь, будто в стенку упирается. И ничего тут не поделаешь. Лишь изредка на зевке, на нескольких частых, судорожных вздохах удается вобрать его глубоко — и это такое наслаждение, что память о нем смягчает последующие муки. Врачи уверяют, что это явление нервного порядка — следствие контузии. Когда наступает очередной приступ, я глотаю успокоительное и начинаю мотаться по окрестностям. Порой мне сильно и остро думается о разных важных вещах, я даже что-то сочиняю про себя, но чаще мною владеет жестокая тревога, на грани паники, и тогда избавление — временное — наступает лишь с тяжелой физической усталостью.

В тот день, о котором идет речь, я исходил наш поселок вдоль и поперек, но, лишь заметив Морелона, поймал какое-то ненадежное, но почти нормальное дыхание. Это не случайно. У меня появилась

внешняя цель — избежать встречи с Морелоном, не столкнуться с ним нос к носу, и эта маленькая озабоченность потеснила тревогу нездоровья. Я и раньше не раз пытался помочь себе каким-нибудь отвлечением: работой, деловыми звонками, возней на садовом участке, но из этого обычно ничего не получалось. Сознательность намерения препятствовала забывтью. Но случайный толчок из постороннего мира, каким явилось видение невзрачной фигуры Морелона, ослабил подчиненность недугу.

Морелон был человек по натуре безобидный, но обладавший способностью запутывать меня в какие-то глупые дела, приводившие к мелким досадным неприятностям. Вообще же он являл собой фигуру, весьма типическую для того жизненного пространства, где расположился наш поселок, вернее, несколько поселков, соединившихся территориально и морально, но не административно. Тут обитали люди свободных профессий и ученые, которых называли почему-то «академиками». Таким образом, у нас была академическая сторона, писательская, композиторская и сторона смешанная: киношно-художническая. Народ все пожилой, в рукодельном смысле крайне неумелый и потому растерянный перед лицом природы, которая сохранилась при всей урбанизации здешней жизни и требовала внимания. Впрочем, в писательской части имелся свой Лев Толстой, он копал гряды и даже косил, зарывая нож в глинистую землю. Среди академиков и художников водилось несколько человек, не боявшихся электрических пробок и способных прибить к забору табличку: «В саду злая собака», но остальное население отличалось полной беспомощностью. Естественно, что поселок оброс, как пень грибами, разными умелыми людьми, которые могли «выручить»... По правде, эти люди мало что умели, но брались решительно за все. Когда у нас поселился знаменитый пианист, он смеял ради предложил такому вот «на-все-руки» настроить рояль. Тот как раз чистил выгребную яму — на языке нашего поселка, «убирал последствия». «Можно, — глуховато, поскольку из смрадной глубины, отозвался настройщик. — Три куска». Главное, ошеломить ценой. Спор возникал вокруг оплаты, а неподготовленность мастера выяснялась уже в процессе работы. О возвращении аванса, давно пропитого, речи не заводили, время было безвозвратно утеряно, и заказчику не оставалось ничего другого, как терпеливо ждать, пока честный труженик не обучится на своих ошибках. И ведь обучались, да еще как! Редкостно талантливы наш народ. Один освоил тонкое искусство печной кладки, едва не уморив целую семью угаром своего первого камина; другой стал отличным столяром, которому по силам сложные реставрационные работы; третий — строителем, берет подряды на гаражи, сараи, времянки и даже дачи; четвертый поступил в ателье по ремонту телевизоров. Но таких, как этот телевизионщик. — единицы: большинство, даже освоив хорошие профессии, осталось при поселке на птичьих правах.

Шальная копейка счета не любит, никто из этих даровитых людей не нажил палат каменных, на сквозном ветру безбытности досыпают свою жизнь.

Морелон принадлежал к тем немногим, что ничего не умели и ничему не научились. Маленький, хлипкий и невыносливый, он не любил потной работы и тяготел к коммерции: торговля и торговое посредничество. Он сроду не мог достать того, о чем его просили, ничуть не тяготясь этим обстоятельством. Если ему заказывали огуречную рассаду, он приносил валенки; если был нужен скворечник, Морелон притаскивал хомут или лестницу-стремянку, но он мог и скворечник доставить, если попросить о сушеной черноплодной рябине. И далеко не всегда Морелону давали от ворот поворот. То ли люди не знают своих действительных надобностей, то ли соблазнительный вид неожиданного предмета побуждал желание его иметь...

Мне особенно не везло с Морелоном. Помню, он долго морочил мне голову каким-то флюгером. Утомленный его настойчивостью, я дал задаток. Через год Морелон принес не то жестяного петуха, не то коня, и тут выяснилось, что это наш старый ржавый флюгер, давно выброшенный на помойку. Другой раз он явился с белой деревянной лопатой скидывать снег с крыши. Жене он дал понять, что договорился со мной, а мне — что его пригласила моя жена. Первым же молодецким кидком он вышиб цельное стекло террасы, которое я с величайшим трудом раздобыл в Таллине. Он был так убит своей неловкостью, что мы буквально навязали ему бутылку для успокоения расхоловавшихся нервов. Зато на другую зиму Морелон сам свалился с крыши, забыв привязаться к трубе. До самой весны он каждый день являлся за винной порцией, ибо пользовал себя от ушибов водкой с солью и перцем.

От Морелона в нашем доме — огромные, тяжеленные и негнущиеся валенки-чесанки, часы с кукушкой, которая никогда не показывается, щекастый золотой ангел, выломанный из царских врат, чадная керосиновая лампа и ужасная крысоловка, которую прищемленная крыса уволокла под пол и вот уже годы пугает наш сон чудовищным грохотом.

И у этого никчемного человека нашелся в нашем поселке почитатель, да еще какой — Классик! Испытывая время от времени приступы звериной тоски, Великий писатель посылал за Морелоном. Тот немедленно являлся на зов друга. Ничто не могло остановить Морелона, он бросал работу, откладывал любое дело, жертвовал заработком, ставил на карту свою репутацию, которой весьма дорожил, ничуть не подозревая о низкой ее котировке. Хвостун и враль, Морелон был на редкость сдержан и щепетилен во всем, что касалось его отношений с Писателем, обнаруживая тем самым несомненную тонкость души.

Писателю Морелон обязан своим прозвищем. Новым прозвищем, ибо долгое время его звали в поселке Жених. Он и был женихом всех

без исключения окрестных красавиц. Морелон не просто хотел жениться, что-то маниакальное проглядывало в его одержимости брачной идеей. Но осуществил он свою мечту в иных, далеких краях, куда не доплескивались волны его сомнительной славы. Пропадал Морелон около года, а вернулся уже женатым, прибавившим тела, поселившимся, в кирзовых сапогах на толстой подметке, чистом черном ватнике и с бритой головой. Он был похож не то на солдата после дембиля, не то на амнистированного, но почему-то ему это шло, он словно перестал растекаться и застыл в четкой, определенной форме. Первый визит бывший Жених нанес Писателю, тогда уже безнадежно дряхлому, и покинул его, толкая перед собой велосипед. Писатель, любивший одинокие лесные велосипедные прогулки, знал, что ему больше не ездить, и подарил своего худого металлического конька пешему приятелю. И сразу вместо устаревшего прозвища Жених родилось новое: Морелон — в честь всемирного героя велодрома, непревзойденного французского спринтера. Прозвище прислохо, как голубиный помет к гипсу белых статуй.

Велосипед Писателя, человека рослого, был велик Морелону; даже предельно опустив седло, он не доставал ногами до педалей. Тогда он вовсе снял седло и положил на раму плоскую подушку. Теперь он мог ездить, переваливаясь по-утиному из стороны в сторону. Конечно, так много не наездишь, и Морелон предпочитал с важным видом толкать велосипед перед собой или вести его за муфлоньи рога круто выгнутого руля. К багажнику обычно была приторочена какая-то поклажа, ибо Морелон не оставил коммерческой деятельности, хотя и устроился куда-то на полставки. Этой «полставкой» он гордился, словно каким-то отличием, а может, видел в ней гарантию относительной свободы, позволяющей ему по-прежнему располагать своим временем. С тех пор никто не видел Морелона без велосипеда. Он таскался с машиной и в дождь, и в весеннюю распутицу, и в непролазную осеннюю грязь, и в крещенский мороз и снег, бесконечно обременяя себе жизнь, но выгадывая что-то куда более значительное. Это стало ясно, когда один из «академиков» предложил Морелону за его громадину прекрасный польский подростковый недомерок.

— Ты что, спятил? — сказал обычно вежливый Морелон. — Не знаешь, чья это машина? — И всхлипнул и утерся рукавом, а потом надолго запил, потому что Писателя уже не было в живых.

...В погожий день бабьего лета, слоняясь по опустевшим аллеям в надежде поймать дыхание, но взамен этого ловя то и дело Морелона, имевшего какой-то настойчивый интерес в поселке, я снова поразился, до чего ж он крошечный по сравнению со своим костлявым велосипедом — ну, просто гном, тролль, с немолдым, серьезным, таинственным лицом. К багажнику машины было приторочен небольшой мешок с картошкой, которая отчетливо обрисовывалась сквозь грязную ткань. Крепко же его припекло, если он с таким маниакальным

упорством штурмует пустынные дачи. В конце концов я попался. Мы не виделись несколько лет, но Морелон сразу вспомнил меня.

— Я тебя знаю,— сказал Морелон.— Ты у Нагибиных живешь.

— Точно,— подтвердил я, несколько задетый, что за четверть века так и не обрел в сознании Морелона самостоятельного существования.

— А вот как тебя звать, не помню. Ксению Алексеевну, покойницу, помню, серьезная была женщина. Ты ей сыном приходишься, а как звать — извини-прости.

— Юрием Марковичем.

— Точно! Сразу вспомнил, Яклич, и жену твою вспомнил. Тоже очень серьезная женщина. Ох, Яклич,— сказал он с испуганно-сочувственной интонацией,— это исключительно серьезная женщина!

Я вспомнил, как защищала жена наш хрупкий быт от разрушительного гения Морелона, и понял, что он имеет в виду. Понял я и другое: почему он переименовал мое отчество. В память ему бессознательно сунулось имя моего тоже покойного отчима.

— Хочешь жене угодить? — спросил Морелон.— Возьми у меня картошечку. Честно шепну тебе, Яклич, такой картошечки поискать.

— Мы третьего дня у Маруси взяли два мешка.

— У Маруси? — удивился Морелон.— Чевой-то я такой не знаю.

— Зареченская. На ферме работает. Да знаешь ты ее. Она молоко носит.

— Нет, Яклич, не знаю,— строго и грустно сказал Морелон.— У меня другие друзья...— Морелон помолчал и тихо добавил: — были...— Он всхлипнул и утерся детской ладошкой.

Немного успокоившись, Морелон посетовал на мое бирючество.

— Забыл ко мне дорогу, Яклич,— укорял он меня.— Как я оженился, ты ни разу не был.

Справедливости ради надо сказать, что я и до женитьбы Морелона не захаживал к нему, понятия не имел, где он живет, и вообще не был уверен, что он существует непрерывным существованием, а не появляется время от времени, как летающая тарелочка.

— Я ведь не пью совсем,— сказал я в оправдание своей нелюдимости.

— Ну и что с того?..— тем же обиженно-наставительным тоном начал Морелон, и тут чудовищный, дикий смысл моего заявления ожег ему мозг.— То есть как это... как это понять?.. Совсем ничего?.. Ни капли?.. Не надо, Яклич, не надо загищать. Я ведь с тобой похорошему.

— Честное слово! Здоровье не позволяет.

— Всем позволяет, а тебе не позволяет?.. Вон Петрович не хуже тебя больной, а навещает.

— Да он же уехал отсюда. Еще в прошлом году.

Морелон долго смотрел на меня, скосив по-птичььи глаз и не поворачивая головы.

— Неужто я этого не знаю? Уехал. Дом продал и уехал. Но приезжает ко мне. Вместе с сыном-юристом. Сын у него юрист или нет?

— Не знаю.

— А не знаешь — молчи. Приезжают лигулярно. Мы с ним все обсудим, без этого не отпускаю. Конечно, и угощение ставлю. Все чин чинном. Значит, берешь картошечку? — без перехода сказал Морелон, так спокойно и уверенно, что, будь у меня деньги в кармане, я бы не удержался.

— Говорю — мы уже взяли!

— Я слышал, Яклич, слышал. Не глухой. Но мне, хоть убейся, нужно ее продать.

— Ну и продавай на здоровье.

— Кому?.. Кому я ее продам, если все разъехались? Некому мне продать, окромя тебя. Мне восемь рублей во как нужно!.. — Он резанул себя по горлу ребром ладони и вдруг отпрянул от меня, вобрав голову в плечи. При этом он весь встопорчился, будто снегирь в мороз, раздулся, сильно увеличившись против своих обычных размеров.

Мы как раз шли мимо проходной пионерского лагеря. И от этой проходной ко мне шатнулся весьма известный в поселке человек, поцыгански смуглый и чернявый — Мишка Волос. Я не понял брезгливо-враждебного движения Морелона. Волос был поселковый старожил, добродушный малый с некоторыми странностями. Трезвому ему можно было доверить алмазный фонд, но если душа горела, Волос отбрасывал все запреты. Он не воровал в обычном смысле слова, а тянул в открытую, что ближе к рукам: грабли, лопату, мотороллер; мог сорвать калитку, фонарь, унести на глаза хозяина мешок с цементом, лист фанеры или ручную косилку. Его всегда брали на месте преступления, он не оказывал сопротивления, не оправдывался, не врал, не придурялся, но с растерянно-стыдливой улыбкой пытался удержать чужую вещь. Закон долго был мягок к Волосу, но в последний раз ему вlepили на всю катушку. В поселок он вернулся, будто с курорта, загорелый, хорошо подсушившийся, с просветленным взором. Обошел дачи, со всеми сердечно поздоровался, расспросил о житье-бытье и хватко включился в работу. В отличие от Морелона он все умел, любое дело горело в его руках. По-моему, Морелон ревновал к Мишкиной популярности. Волос даже не глянул на соперника; пожав мне руку, он попросил закурить и на бутылку. Получив отказ и в первой и во второй просьбе, как-то нежно опечалился. Видать, предчувствие дальней дороги опахнуло душу. А был он уже немолод, бродячая жизнь становилась трудна изношенному сердцу...

— ...Нашел с кем дружить, Яклич! — Морелон поджидал меня за поворотом шоссе. — Это ж туняедец.

— Хорош туняедец! Он всегда в работе.

— Хабарит.— Морелон исходил презрением.— Которые люди труд уважают, те на полетавке.

— Уж больно ты строг!

— Я знаю, что говорю... Он с утра о водке думает.

— Будто он один!

— Другие опохмелиться ищут. А он — чтобы снова морду налить.
Две громадные разницы.

— Не такие уж громадные.

— Нет, Яклич, ты завязал и ничего не помнишь. Уж лучше помолчи. Мишка этот, — Морелон понизил голос, — в ресторан ходит.

Недавно в соседнем поселке, у шоссе, открыли столовую, которая вечером, ничего не меняя ни в ассортименте блюд, ни в ценах, объявляла себя рестораном и готова была обслуживать свадьбы, служебные банкеты и прочие праздничные застолья. Вечер отличался от дня лишь тем, что водочные бутылки переселялись из-под стола на столешницу.

— Не все ли равно где пить? В ресторане чище.

— Спасибо, Яклич! Удружил! Нет уж, меня ты в ресторане не ищи. Я тебе не Волос, а человек семейный. У меня порядочность есть.

Он посмотрел на меня почти умоляюще:

— Прошу тебя, не ходи туда. И не слушай Волоса. Он же отчаянный. Одно слово — цыган. Там не то что деньги, себя потеряешь.

— Неужто там так опасно?

— Самое ужасное место на земле. Водку пивом запивают. Исключительно. Музыка орет, аж глохнешь... Ладно, заболтался я с тобой, а дела не делаю. Берешь картошку-то?

— Я же сказал тебе...

— Мало ли что сказал!.. День рождения у дочки, надо подарок купить.

— Какой подарок?

— Куклу.

— Твоя дочь играет в куклы?

— А как же? Шесть лет — самая игра. Через год в школу пойдет, тогда уж не до кукол будет.

Мы не следим за чужим временем, да и за своим тоже.

— У тебя шестилетняя дочь?

— Ты, Яклич, глупый или притворяешься? Я же молодой. А жене и тридцати нет. Ты жену мою видел когда?

— Н-нет.

— Красавица! Самая красивая женщина в микрорайоне. И дочку не хуже себя родила. Синеглазка, веселая!.. Я ведь тоже из себя ничего. Сейчас малость поистерся. А и то, дай мне в баню сходить, побриться, сорочечку чистую надеть — любая засмотрится... У тебя сколько с собой денег?

— Ни копейки.

— Кто же без денег со двора идет? — облил меня презрением Морелон.

— Ты, например.

— Сравнил! У меня картошка.

— А где ты собираешься куклу покупать?

— В продовольственном, где же еще? — сказал он сердито, раздраженный моей оторванностью от жизни. — У нас другого нету.

— А в каком отделе — мясном или бакалейном?

— В кондитерском, конечно. Там и куклы, и гольши, и мячики, и барабаны с палочками. Я дочке давно обещался. Да ведь знаешь, как в хозяйстве — то одно, то другое... Капитала свободного не было. А сейчас отступать некуда. Что же, она так и вырастет без куклы?

— Неужели у нее никогда кукол не было?

— Были. Тряпишные. Личики краской наведены. Дерьмо. А таких, чтобы глазами моргали и «мама» вякали, не было. Они и в магазине-то первый год.

Мы вышли к реке. С моста незнакомый мужик забрасывал самодельную удочку. Вода в этом месте была почти черной, но прозрачной до самого дна, закиданного старыми крышками, худыми канистрами, консервными банками, какими-то железяками. Над всей этой дрянью пластались, извиваясь, длинные жирные водоросли. Рыба здесь сроду не брала, о чем и сообщил Морелон рыболову.

— Тебе выше или ниже надо идти, а здесь только время убьешь.

— А может, я и хочу его убить? — насмешливо сказал мужик, циркая слюной из щербатого рта на бледного, давно издохшего червяка.

— Вот чудило! — удивился Морелон. Прислонив велосипед к перилам моста, он достал сигареты. — Неужто тебе больше делать нечего?

— А тебе? — спросил мужик, перебрасывая удочку ближе к берегу.

— Я картошку продаю. А вообще на полставке, — вскользь сообщил Морелон. — Моих делов, милый, сроду не переделать. На мне, если хочешь знать, целый поселок лежит. Спроси хоть его, коли не веришь. Правду я говорю, Яклич?

Я промолчал, и Морелон принял это как подтверждение.

— Вот видишь! — сказал он рыболову и закурил. Затягиваясь, Морелон глубоко всасывал худые щеки, на висках набухали грозные синие вены, и глаза вылезали из орбит. Наполнившись дымом от макушки до пят, он задерживал его в себе, чтобы каждая клеточка пропиталась никотином, а затем мощно, в два приема выдувал синими столбами.

— Ты бы все-таки тут не ловил, — пристал он опять к мужику. — Здесь она и в сезон не клюет. Ступай к плотине. Там хоть какой-то шанец есть.

— А мне он ни к чему, — скучно сказал мужик, оплевывая червяка.

— Тебе картошки на ушицу не надо? — деловито спросил Морелон.

— Чего пристал как банный лист? — с тоской и злобой сказал мужик. — Вали отсюда. Здесь вагон для некурящих.

— Ну и чикайся тут! — озлился Морелон. — Ему добра желают... Вот дубина!.. А мне некогда ляды точить.

Он взял велосипед за рога, пошевелил мешок, взбодрив картошку.

— Ладно. Гуляй, Яклич, раз здоровье требует. Я к академикам толкнусь. А насчет ресторана — держись крепко!.. — С этим добрым советом Морелон отбыл, а я заметил, что все это время дышал нормально.

Я еще постоял возле скучного рыболова, было что-то завораживающее в бессмысленном и вызывающем упрямстве, с каким он тщился ловить рыбу на дохлого червя в заведомо безрыбном месте. Так и не постигнув смысла его явления в пространстве — если тут действительно был смысл, — я побрел к плотине, где хорошо и грустно шумела вода. Затем сквозь золотой листопад старого березняка, опутанный нитями летучей паутины, я вышел к поселку и подумал, что могу вернуться домой...

Передышка оказалась недолгой. К вечеру я вновь мерил шагами поселковые аллеи не в силах зачерпнуть пригоршню благодати из воздушного океана, омывающего мир.

Бродил я долго, и раз-другой в перспективе центральной аллеи мелькнула фигура одинокого пешего велосипедиста. Похоже, Морелон по второму кругу совершал свой безнадежный обход. Уже в сумерках мы столкнулись с ним.

— Все еще не продал?

Морелон развел короткими руками. Достал сигареты, закурил. Пальцы его дрожали. Он был человек, не избалованный фортуной, и всегда стойко держался против ветра, но эта неудача сломала его.

— Ладно, не переживай, — сказал я ему. — Завтра купим твоей дочери куклу.

— Берешь картошку? — просиял Морелон.

— Неужели тебе самому не надоело?..

— Как же так?.. — растерянно произнес Морелон. — У меня ничего больше нет... Даже флюгера. А я должи́н из своих пречистых подарков дочке сделать.

— Брось! — Я уже устал от него. — Разве это твоя картошка?

— А... чья? — с запинкой сказал Морелон. — Я ее сам копал. Приложил свой труд.

— Копал — не сажал. Картошка чужая, нечего вкручивать.

— Обижает, Яклич. Она мне вовсе не чужая. Я ее на своем огороде накопал.

— Ври больше.

— Как бог свят! Жена каждый год картошку сажает. Хозяйственная!.. — с бледной улыбкой сказал Морелон. — Конечно, врать не буду, нарыл я утайкой. А все же картошка мне вовсе не чужая, а родненная — по жене.

Темны извивы чужой души и вовсе не проглядны, когда тебе самому худо.

— Дело твое. Была бы честь предложена.

— Да что ж это такое?.. — сказал Морелон, мучительно морща свое маленькое безвозрастное лицо. — Значит, не отец ей куклу подарит, а чужой дядя?.. — Он топнул ногой, повернулся и, упираясь руками в руль, покатил прочь свой тяжелый велосипед с притороченным к багажнику мешком картошки.

А ведь недаром провел он столько часов с покойным Писателем. Они не разговаривали. Молчали, курили, иногда улыбались. Но такая тишина стоит многих речей. И Морелон умел слушать молчание Писателя. Неправда, что он ничему здесь не научился. Он научился чему-то более важному, чем всякая ручная работа. И какой он, к черту, Морелон? При чем тут долговязый, сухопарый, азартный и ничем не обремененный француз? И тут мне будто кто шепнул на ухо сроду вроде бы не слышанное имя.

— Николай Иванович! — крикнул я — Сушков!.. Погоди!..

Тишина. Затем тихо и сумрачно донеслось:

— Ну, чего тебе еще?..

ПРЕКРАСНАЯ ЛОШАДЬ

Я видел ее несколько раз, вернее сказать, касался тем безотчетным, не посылающим в мозг четкого сигнала взглядом, каким мы чаще всего обходимся в повседневной жизни, защищая невыносливое сознание от жгучего обилия впечатлений. Не что находилось в пространстве вокруг дома отдыха, не входя в положенный реестр; оно не было ни деревом, ни кустом, ни машиной, ни отдыхающим, ни землемером с теодолитом — небольшая компактная масса, проступавшая сквозь утреннюю туманную изморось и наливавшаяся сгустком тьмы в ранних ноябрьских сумерках. Для рассеянного сознания это вот «неположенное» сперва «находилось» на территории дома отдыха, затем потребовало для себя иных глаголов, признающих динамизм явления: оно «появлялось» и «исчезало», и наконец великим глаголом «жить» было возведено в ранг одушевленного существа: в нашем просторе, то рождаясь из света, то пропадая во тьме, жила лошадь.

Впрочем, тут у меня сдвиг, пропуск: лошадь — это позже, поначалу же был призрак лошади. Да, мы узнали, что вокруг громадного корпуса дома отдыха, по необъятной и почти девственной

территории, как-то ненадежно и неуверенно отобранной у леса, реки и поля, бродит призрак лошади.

Во всяком другом месте подобное открытие возбудило бы тревогу, брожение умов, но только не в этой подмосковной здравнице, самом странном заведении из всех виденных мною за долгую жизнь.

Двусмысленность была в самой основе «дома отдыха санаторного типа», ибо никто не ведал, в чем призвание громозда, выросшего не так давно с краю старой барской усадьбы: созидать или разрушать здоровье своих обитателей. Одни являлись сюда с простой путевкой и откровенным желанием «пожурировать жизнью», другие — с курортной картой и робкой надеждой, что тут им обновят тело и душу. А в храме здоровья неумолчно гремел праздник, звучала вакхическая песнь и густые, подступающие к окнам дома лесá служили прибежищем озорной любви.

Из леса являлись разные таинственные существа. Однажды поутру тонкий чистый снег, выпавший за ночь, оказался испещренным бесчисленными маленькими следами, которые невозможно было приписать обычным обитателям Подмоскovie: лисицам, зайцам, кабанам, ласкам. Разгадку подсказало художественное чутье одной отдыхающей дамы. Томимая бессонницей, она поднялась на рассвете, отдернула занавеску, и ей почудилось, что по земле растелена царская мантия. Образ подсказал отгадку: к дому приходили горностаи — их шкурками некогда отделявали парадное цареву платье.

Другой раз по залитой луной опушке леса металась тень гигантского рогача. Наверное, то был лось, но самого зверя никто не углядел, лишь стремительная тень промелькивала по лунной бледности земли и хвойника.

Старинная усадьба вносила свою мистическую лепту в здешнее бытие. Там был глухой парк, темные липовые аллеи, желтый облупившийся дворец с белоколонным портиком, старое кладбище, розовая барочная действующая церковь Всех Скорбящих с ампириной колокольней. На кладбище, среди металлических ажурных крестов, под которыми осыпались могилы елизаветинских фрейлин и екатерининских вельмож, мигали ночами синие огоньки. Молва утверждала, что неугомонившиеся души фрейлин развеселой императрицы, покинув тесные обиталища, любезничают с душами галантных кавалеров любвеобильнейшего из всех монарших дворов.

Готовность к чуду была разлита в непрочном воздухе поздней осени, то крепком, на ранье каленом от сухо-студеного утреника, а днем прогреваемого солнцем до летней благоуханности, то квелом, сопливом, сочащимся скользкой влагой. И когда появился призрак лошади, он естественно вписался в пейзаж, дружественный подлунному буйству теней и миганию потусторонних огоньков.

Но сейчас я прихожу к выводу, что подлинность лошади отвергали

не из мистической настроенности, а из приверженности к житейскому правопорядку. Наша здравница отличалась терпимостью к животным. Внутри было полно кошек, а снаружи — собак. Но кошки — маленькие существа, к тому же с четкой служебной функцией, нередко обитают в учреждениях на полуправильном положении и даже множат род четвероногих клошаров; бродячие собаки могут находиться у хлебных человеческих стойбищ, пока о них не вспомнят — обычно в пору буйных свадеб — и не отдадут на отстрел собачникам. Но чтобы жила ничейная, вольная лошадь, какой-то одинокий, независимый гуингнм — это не укладывалось в правовом сознании иеху. Вот почему ее проще было считать призраком, нежели тварью из плоти и крови. И все-таки настал день, когда силуэт загадочного коня обрел трехмерность, четкую живую окраску, суету мелких движений плоти, ежесекундно приспосабливающейся к среде, и пришлось отбросить самообман — возле нас существовала лошадь, которая ходит сама по себе.

Я люблю лошадей с раннего детства, с большого московского двора, приютившего винные подвалы, куда гривастые битюги доставляли груженные бочками подводы, с ночного в рязанском поле на краю Сухотинских яблоневых садов, с лихих московских извозчиков, гонявших по кривым улицам списанных с ипподрома рысаков. Но как же редко доводится мне теперь видеть лошадь! И вот она пришла словно из дней детства, но что-то непонятное мешает мне приблизиться к ней.

Ее одиночество являлось преградой, которую я не осмеливался переступить. В почтительном отдалении я наблюдал, как неспешно и сосредоточенно обирает она осеннюю траву, где бурю, с редкими прожилками живой зелени, а где изумрудную, напоенную сладким соком; как замирает в дремоте или медленно бредет куда-то, отгоняя взмахами коротковатого хвоста прилипчивых осенних мух.

Порой на огнисто-черном закате или в утреннем, просковенном алостью тумане простая рабочая скотинка превращалась в сказочного коня — громадного, скульптурно-совершенного, равно готового к неистойов ковыльной вольной скачке и к подчинению забранной в железа богатырской руке, правящей на врага, и к звездному полету с отважным Иванушкой на спине...

А потом началось мое приближение к лошади. Медленное, неравномерное, прерывистое, но неизменно наступал день, когда с поворотом прогулочной тропки я оказывался ближе к лошади, занятой терпеливым трудом насыщения и деликатно непричастной окружающей жизни.

А потом лошадь вышла из глубины пейзажа и стала пастись вдоль дорожки, ведущей к старинной усадьбе, церкви, кладбищу. И я оказался так близко от нее, что почувствовал слабый запах мокрой шерсти. Эта дикарка была на редкость ухоженной: хвост подрезан

и расчесан, так же расчесаны густая грива и челка. Обрызганные утренней влагой копыта опрятны, не заскорузлы и освобождены от подков. Надраенный скребницей круп сыто блестит. Чист и промыт был глянувший на меня полный, сферический, темно-лиловый глаз, вобравший в свою прозрачную мглистую глубину весь окружающий простор с моей крошечной фигурой на переднем плане. Красив и значителен был мир, отраженный в ее большом, глубоком и добром зрачке, а вот другой глаз ничего не отражал — тусклый, затаенный голубоватым бельмом, он мертво пялился в пустоту. Лошадь редко и крепко моргала своим живым глазом, а мертвый глаз не мог себя защитить, даже когда к нему приставала травинка или муха начинала биться в моллюскоподобный сгусток под щеточкой ресниц с поседевшими кончиками.

Но, странное дело, бельмо не уродовало лошадь, а прибавляло ей достоинства. Природный ущерб не помешал ей выполнять свое жизненное назначение; крепко поработала старая на своем веку и награждена нынешним привольем.

Это была не простая деревенская лошадь. В ней чувствовалась порода, хотя не знаю, какие крови слились, чтобы создать такое милое существо. В ее предках, несомненно, значились тяжеловозы, от них — массивность груди и крупа, крепость ног с мохнатыми бабками, ширь непровалившейся спины. Но не бывает таких маленьких тяжеловозов. Нерослая и коротенькая, она казалась помесью битюга с пони. Впрочем, такое сочетание невозможно, как помесь сенбернара с болонкой. Мощь и миниатюрность на редкость гармонично уживались в ее стати, и красива была жаркая гнедая масть.

Тут ее заметила большая рыжая собака с темной мордой и решила выслужиться перед своими кормильцами. Ведь появление бродячей лошади возле торжественного входа в главный корпус — явный непорядок. Собака подбежала к лошади и деловито облаяла. Лошадь продолжала спокойно пощипывать траву. Тогда собака залаяла громче, злее, морща храп и скаля желтые клыки. Она разжигала себя, но лошадь, столько видевшая на долгом веку своим единственным оком, не придавала значения этому деланному ожесточению. Ее невозмутимость озадачила собаку. Она перестала лаять и несколько раз крутнула хвостом, словно прося у кого-то прощения за несостоявшееся представление, и тут заметила, что за ней наблюдают. Шерсть на загривке стала дыбом, она зашлась визгливым лаем, забежала сзади и попыталась ухватить лошадь за ногу. Лошадь не видела ее, собака зашла со стороны ее мертвого глаза. Подумав, лошадь угадала ее местонахождение, повернулась и старательно, как и все, что она делала, кинула задними ногами. Попади она в собаку, той пришел бы конец. Но лошадь вовсе не хотела причинить ей ущерб. Собаке вздумалось поиграть в бдительную и самоотверженную службу, лошадь без охоты, но добросовестно подыгрывала ей. В промежутках

между схватками лошадь продолжала щипать траву, тихо удаляясь от дома отдыха. Наконец собака посчитала свою миссию выполненной, твякнула раз-другой и побежала гарцующей походкой к стае рассказать о своей победе.

Мое восхищение лошадью еще возросло. Она попала в глупую и докучную историю, но вышла из нее с замечательным достоинством...

Покинув свою таинственную даль, незнакомка стала обычной жующей, хрумкающей лошадью, но печать загадочности осталась. Чья она, почему гуляет одна, где хочет, без надзора и ограничений, положенных каждой приобщенной к цивилизации особи, будь то животное или человек, куда уходит на ночь, откуда и когда возвращается?..

Некоторые отдыхающие попытались вступить с лошадью в более тесные отношения, но она не шла на сближение, не принимала ни сахара с ладони, ни черного хлеба, скромно довольствуясь осенней травой. Долгие годы возле людей научили ее мудрой осмотрительности. В отличие от глупых и доверчивых собак она знала, что добровольцы порядка строго следят за распределением государственного продукта, учитывая каждый кусок, идущий не по назначению. Лошадь не понимала другого, — что сама безнадзорность ее была вызовом правопорядку.

Звуковой фон нашего мирка был многообразен, он включал рокот голосов, скрип шагов, хлопанье дверей, плеск воды в бассейне, звон стаканов в баре, костяной стук бильярдных шаров и глухо-тугой — теннисного мяча, музыку, выстрелы с экрана телевизора, обвальный грохот из приоткрывшейся двери кинозала, мгновенно отсекаемый, но длящийся эхом, обрывок песни, смех, зовы... Провал мгновенной тишины тоже был озвучен высоким чистым звоном, вновь принявшим в себя рокот, скрипы, шорохи, шепоты, взревы... Из хаоса звуков слух выхватывал отдельные слова, фразы. Все чаще слышалось: лошадь... лошадь... лошадь... Приковалось к страннице бездельно-цепкое внимание отдыхающих. Доброжелательное, с теплым удивлением, а мне тревожно стало. Из доброго хора нет-нет да и вырывалось:

- Не положено...
- А может, ее ищут?..
- А что, если больная?..
- ...ящур, сап, бешенство...
- Глаз у нее плохой...
- ...бельмо? А если трахома?..
- Ежели каждая старая кобыла...
- ...травы не хватит...

А потом я заметил, что исчез кошачий помет из верхнего, необжитого отдыхающими громадного холла, который я пересекал по

пути в столовую, и понял, что кошек ликвидировали.. А вскоре тишина и пустота за входными дверями оповестили о другой пропаже: не стало милых вечно голодных бродячих псов, что сбегались сюда в обеденное время в надежде на подачку. Ловко их отловили, втихаря. Мне подумалось, что кто-то не вовсе злой выкупает этими подачками жизнь бездомной лошади. Та же мысль, как позже выяснилось, промелькнула во многих головах. А когда лошадь вдруг исчезла, все заговорили разом, что ее застрелили по наущению какой-то вездесушной сволочи.

Но она вернулась — и не одна. С ней пришел лесник, сильно пожилой, крепкий, поджарый человек в зеленой лесной форме, фуражке с бляхой и болотных, подвернутых ниже колен сапогах. Был он рыже-сед, веснушчат, с седыми желто-обкуренными усами. Его съезжившиеся от чащобного охлеста прозрачно зеленые глаза добро улыбались из глубоких глазниц. Прочный, надежный в каждой жилке, морщинке, движении, слове трудовой человек, что обратил опыт долгих лет в доброту, в уверенное приятие жизни, которую он, видеть, умеет принуждать к справедливости.

— ...да что вы, ей-богу! — насмешливо говорил он (я попал на продолжение его разговора с отдыхающими).— Кто же позволит ее стрéлить? Да и кому Маруська мешает?

Заведя руку назад, он погладил лошадь по крутой, твердой скуле. Она стояла за ним, упираясь головой ему в спину и дыша родным запахом.

— Без малого двадцать годов мы с ней вкалывали. А сейчас пусть гуляет, заслужила бессрочный отпуск.

— А ничего, что она... так вот... ходит? — спросил кто-то.

Лесник ответил не сразу, улыбка его стала чуть напряженной, он хотел сообразить, в чем смысл вопроса: в опасении за лошадь или в неодобрении Маруської вольности? Верх взяла вера в добрые намерения людей. Он сказал посмеиваясь:

— Да кто ее обидит? У кого подымется рука на старую заслуженную лошадь?.. Маруська умная и вежливая, она не полезет куда не надо, сроду не напачкает, от нее никакого вреда.

— Вы уж поберегите ее! — попросила круглолицая старушка с гвардейским значком на шерстяной кофте.

— А как же! У нас, окромя друг друга, никого нету. Разве что лоси да кабаны! — совсем развеселился лесник.— Пошли,— сказал он Маруське.— Людям отдыхать надо.

— Вы все-таки отпускайте ее к нам,— попросила гвардейская старушка.

— Есть отпускать! — засмеялся лесник, прикоснулся пальцами к околышу фуражки и пошел в свой лес, а Маруська поплелась следом.

Обрадовал всех разговор с лесником, никто и внимания не обратил, что старая Маруська прикрыта от судьбы лишь худым плащом

лесниковой доброты, а не законом. Нет охраняющего закона для старых прекрасных лошадей... И никто не обратил внимания на полуторку, проехавшую в лес мимо главного корпуса дня через два после умильного собеседования. В кабине рядом с водителем сидел милиционер, а в кузове два парня с широкими скучными лицами. Никто не придал значения и слабому выстрелу, ватно шелкнувшему в сырватом просторе. Но, когда полуторка катила назад, многие заметили торчащие из кузова четыре толстые коричневые палки. То были не палки — ноги убитой лошади.

И тут забыли набатно давно снятые колокола церкви Всех Скорбящих. Чугунными языками возвести миру о содеянном зле. И никто не поверил Всезнайке, утверждавшему, что это отзвончивый гуд набравшей силу электродойки. За логом и верно находилась молочная ферма, но почему ее не было слышно в другие дни?..

Как бессильно добро и как действенно зло! Добрый старый лесник не смог защитить свою прекрасную лошадь. Добрые, растроганные люди из дома отдыха спасовали перед ядовитым ничтожеством, «запятой» — такое было название у Лескова для невидимых и губительных, как бактерии заразных болезней, носителей зла.

А стоит ли подымать шум из-за старой, полуслепой, бесполезной лошади? — скажет какой-нибудь здравомыслящий человек. Но это была прекрасная лошадь... И потом, меня беспокоит будущее. Помните, у Рэя Брэдбери, чем обернулось в расцвете цивилизации поврежденное в доисторические времена крылышко бабочки? А тут не мотыльковое крылышко, а Лошадь, Прекрасная Лошадь, погубленная не случайно, а сознательно. Что если через миллион лет из-за этого расколется земной шар? Земной шар, населенный лучшими, чем мы, людьми?

Ну, никто так далеко не заглядывает.

А надо бы...

КОЛОКОЛЬНЯ

Каким ветром занесло сюда Сергеева? Ведь он твердо решил провести июнь на Черном море, где не бывал ровно двадцать лет, с постигшего его на половине жизненного пути инфаркта. Жаркий юг был ему категорически запрещен. За минувшие два десятка лет Сергеев неумоимо издевался над своим продырявленным сердцем чудовищными перелетами, дальними и трудными путешествиями, ледяными рыбалками и охотами, сокрушительными застольями, и никак не верилось в смертельную опасность поездки на Черноморское побережье мягким июнем. Он заказал путевки, даже резиновые ласты раздобыл и вдруг очутился на пути к волжскому городку К., в хвосте «жигуленка» своего приятеля и соседа Бугрова, спешившего в родную деревню проведать старуху мать.

А добравшись до К. — двести киломеров выбоин, ухабов, топкой грязи и объездов, — Сергеев сразу понял, зачем ехал. Наверное, он знал это уже в дороге, но не выпускал догадку из подвала, боясь разочарования, ведь фотографию ему прислали лет восемь — десять назад. Маленькую любительскую нечеткую фотографию, пожелтевшую, смятую, на вид очень старую — дореволюционного времени, мелькнуло ему поначалу, но этого не могло быть, поскольку тогда не погружали монастыри и храмы в пучину вод. Мода на большую стоячую воду, накрывающую ради высших целей города, деревни, леса, пойменные луга, пашни и недра, пришла в пору самых дерзновенных преобразований. Фотография выглядела печально: огромный разлив тихой недвижной воды, притуманенные берега с низенькими домами и купама деревьев, кажущиеся очень далекими, и прямо из воды одиноко торчит и упирается в серое небо колокольня в своей ненужной облезлой ампириной прелести — памятник старины, заботливо охраняемый государством. Чем дальше разглядывал он полузатонувшее церковное сооружение, тем сильнее становилось чувство, что колокольня всплыла со дна — посланница верхневолжской Атлантиды. И ужасно захотелось ее увидеть, прямо защемило внутри, будто от прикосновения к чему-то такому, без чего душа его сирота. Это не объяснить ностальгической памятью или следом побежденного страха: ни в детстве, ни в младенчестве его маленькое существо не содрогалось зрелищем потопа, наводнений или некой утlosti среди вод многих. Но ведь бытует мнение, что есть таинственная родовая память, заставляющая человека угадывать в незнакомом, никогда не виданном месте свой прадед и мгновенно исполняться тоски по нему. Сергеев так и не узнал причину волнения и странной тяги, насланных на него старенькой фотографией, но дал себе слово рано или поздно побывать в К.

И вот он приехал. И, едва очутившись в городе сразу увидел колокольню. Она стояла вовсе не посреди обширного искусственного озера, как он ждал, а совсем близко от берега, и казалось, что улица — двухэтажные купеческие особняки и новые многоэтажные дома — упирались прямо в нее. Хмурое небо было просквозно растекшимся за серой пеленой закатным светом, и колокольня на оранжевом выглядела угольно-черной. С приближением она посветлела, сохранив черное лишь в контуре, отодвинулась от берега, проложив между собой и ним широкую, колеблющую охристые блики полосу, стала выше и тоньше. Переместившись в пространство, она утратила материальность — узкая тень некой скрытности на оранжевой глади.

Сергееву хотелось скорее остаться наедине с колокольней. Что за этой хрупкой высью — диковинная бессмыслица, ничему не служащий горчок, кроткий и гордый символ терпения, перемогающего одиночество и стылую мокреть, или необходимость, которую он сейчас вычислит?..

Безгласная — пусто в высокой звоннице, откуда прежде благовестили колокола, — обросшая по низу бархатистым мохом, отчетливо зримым в колебаниях воды, с осыпающейся штукатуркой, отваливающейся лепниной, она собирала вокруг себя простор — с морем воды, с низко лежащим городом и холмистыми дальними берегами, покрытыми лесом, с пристанью за проливом, откуда разбегались во все концы белые «Ракеты», с кирпичными корпусами промышленных новостроек по окраинам, — все держалось, являя целостность, благодаря этой скрепляющей булавке. Быть может, в умном провидении разрушительная сила и пощадила грустную башню?

Но прежде чем остаться наедине с колокольней, надлежало внедриться в чужой мир, получить пристанище и постель. Сосед Сергеева, возведенный в ранг приятеля в связи с поездкой, счел себя ответственным за устройство непрошеного попутчика. Бывают такие странные и прекрасные люди, которым на роду написано покровительство окружающим. У них не возникает даже инстинктивного жеста самозащиты при виде чужого затруднения. Хмураватый, немногословный Бугров, мастер по холодильным установкам, излучал в пространство стойкое тепло. Он отверг беспочвенные планы Сергеева устроиться в гостинице, в Доме колхозника, снять комнату в частном доме. Он предоставит ему отдельную обжитую удобную квартиру в двухэтажном доме, в центре, а значит, поблизости от колокольни.

У Сергеева случаются минуты странной рассеянности: он вроде слышит собеседника, даже иногда отвечает на обращенные к нему слова, подкакивает, улыбается, на деле же из немногочисленного пробывающего глухого ничего не понимает. Порой люди угадывают его отключенность, и если им что-то всерьез надо, умеют сломать заслон и вынудить не к машинальному, а к сознательному ответу.

Вот и сейчас Бугров что-то втолковывал ему про «молодую хозяйку», которая осталась в деревне у матери, а квартира стоит пустая, и если он достанет ключ, то Сергеев поселится там. Сергеев слушал улыбаясь, а когда тот замолчал, любезно осведомился, сколько должен будет платить за постой. Бугров аж скривился.

— Она же родня мне... Через Мишу, помните?..

— Еще бы!..— Сергеев радостно закивал головой. Он следил, как гущается в прозорах звонницы охряный свет, переходя в багрец.

— Неужто забыли? — Бугров не дал себя обмануть. — Я же ездил сюда. В конце марта. На похороны.

Последнее слово сшибло оцепенелость. Колокольня сморгнулась. Надо быть не только рассеянным человеком, «отвлеченным художником», старым склеротиком, но большой сволочью, чтобы и тут не вернуться в действительность. Бугров говорил о своем молодом родственнике, кажется, двоюродном племяннике, замерзшем минувшей зимой возле дома. Он был шофером грузовика, недавно женился. Да, да, теперь Сергеев все вспомнил: они жили в К.; жена

совсем молоденькая, и восемнадцать не было, носила трудно; чтобы сохранить ребенка, перебралась к матери, в деревню. А шофер соскучился, взял отпуск и без предупреждения — сюрпризом — махнул к жене. Добирался на попутных, замерз, зашел к приятелю погреться. Побыл недолго. Уже возле тешиного дома схватило сердце, упал, потерял сознание. Были заносы, его обнаружили лишь через две недели. Сергеев вспомнил все обстоятельства: никто не спохватился, жена думала, что он в городе, родители и сослуживцы думали, что он у жены. Забеспокоились на работе, что он так долго не является. Стали искать. А тут оттепель... Думая об этом сейчас, Сергеев испытывал странное чувство, будто эта история ему «жмет». Что-то тут было не то. До чего же легко исчез человек, так плотно вмазанный в густоту семейных и родственных отношений. Полмесяца пролежал он «один посреди России». Экая безмятежность!.. Но чтобы судить о чужой жизни, надо знать ее изнутри. Вспомнилось и последнее. Бугров считал лишь одно обстоятельство удивительным, невероятным, требующим закрепления в уме собеседника: «Ведь что обидно: не был он выпимши. Товарищ, конечно, хотел сбежать, а Миша не разрешил. Он вообще этим делом не увлекался, из-за сердца, наверное. Да и жену оберегал. Она страсть пьяных не уважает. Словом, погиб вовсе ни за что».

Сергеев сказал:

— Неудобно мне в опустевший дом...

— А что тут неудобного? Людка, говорю, у мамы своей. Дом пустой, чистый. Она вам мешать не будет. Разве что приедет в огороде покопаться, всех и делов.

Как мог он забыть, что едет в места, гдестряслась эта беда. Он непроизвольно поместил случившееся в некую географическую даль, ибо слишком невероятно, что можно замерзнуть в сегодняшней деревне под боком у Москвы. Нужны пустые мгlistые пространства, бураны, седая непроглядь, волчьи вои и волчьи очи, а не расквашенная тракторами сельская улица, запах солярки, электрический свет в окнах и грохоты современной музыки из распаивающихся дверей изб. Ан все случилось здесь, в десяти километрах от города и торчащей из воды молчаливой колокольни, не ударившей в набат, когда завернуло лихо, не оплакавшей звонами без поры сгнувшей молодой жизни. И теперь ему предстоит провести несколько дней в опустелом жилье, на пепелище чужого коротенького счастья, от которого ежилось внутри, но не было разумных доводов для отказа, да и совестно затруднять человека, которому сам навязался.

Они подъехали к Людиному дому, типичному провинциальному строению с каменным низом и деревянным вторым этажом, с глухим забором, откуда свешивались на улицу ветви старого похилившегося клена. Пока Сергеев загонял машину меж двух тополей, впритык к земляному, скрепленному щебенкой тротуару, Бугров сходил в дом

и вернулся со связкой ключей. Получил он их у Людиной соседки, хромой тети Даши, сидящей сиднем в доме. Он объяснил назначение каждого ключа: от калитки, наружной двери, площадки второго этажа, от квартиры и от английского замка комнаты.

— Когда будете уходить, ключи оставляйте у тети Даши. Холодильник я включил, воду принес. Со мной можете связаться через тетю Дашу и через Люду, когда придет. На всякий случай вот адрес.

Бугров уехал, а Сергеев пошел во двор, громко щелкнув задвижкой. Слева невысокая крутая лестница вела на второй этаж. Посреди двора располагались кустом деревянные домики уборных, видимо, каждая квартира владела собственным санузлом. Сергеев с вождением поглядел на свежекрашенные в зеленый цвет наземные скворечни и обнаружил, что на двери каждой висит большой амбарный замок. Он глазам своим не поверил. Двор закрытый, семей обитает немного, каждый человек на виду: едва он вошел, во всех окнах вылепились недобро наблюдающие лица, — чего же так замыкаться друг от друга? Экая нетороватость!..

Сергеев перенес вещи в квартиру, состоявшую из коридора, задняя часть которого служила кухней, и довольно большой, добротно обставленной комнаты: полутораспальная, пышно застеленная кровать, обеденный стол под камчатой скатертью, над ним лustra, справа горка с посудой и комод с разными вещичками, слева платяной шкаф, телевизор, проигрыватель, на подоконниках горшки с геранью, на стенах фотографии, какие-то картинки. Молодожены много успели за то коротенькое время, что им было подарено.

Сергеев сунул харчи в холодильник, поставил чайник на плиту и спустился во двор. Наблюдатели не сомневались в его возвращении и оставались на своих постах. Видать, решили стойко охранять смердные закуты от вражеских поползновений.

Сергеев обошел кругом укрепрайон, потрогал увесистые замки, может, они лишь накинута для порядка, убедился в обратном и вдруг обнаружил на одной из дверей крошечный замочек, как от старого бабушкиного сундучка. И тут же отыскал в связке малюсенький ключик. Разочарованные рыла исчезли в окошках, прежде чем он отомкнул дверцу.

...Сергеев не успел попить чаю, когда в дверь постучали. Вошел некто длинновязый, в короткой не заправленной в брюки маечке-безрукавке и матерчатых шлепанцах. Волос у пришельца был рыж, кудряв, хотя и редок, зато пер отовсюду: из грудного выреза майки, из-под мышек, из ушей и ноздрей, конской гривкой сбегал к верхней косточке хребта. Лицо красно-обгорелое поверх размытых веснушек. Видимо, то был человек вольной, не канцелярской жизни, в дружбе с воздухом и солнцем. Подвинув себе широким и негодным жестом стул, он плюхнулся на него, потер виски, лоб и темя для облегчения предстоящей работы мысли и сказал вкрадчиво:

— Извиняюсь, конечно. Как намерены осуществлять отдых?..
Сеточкой не интересуетесь?

— Нет, это запрещенный лов.

— Все запрещено, и все разрешено, — философски заметил
пришелец. — Курить можно?

— Сделайте одолжение.

Но папирос у рыжего не оказалось, а Сергеев был некурящим.

— Так что же вы хотите: спиннинг или донки?

— Я не собираюсь ловить рыбу.

— Вот те раз!.. Зачем же вы ехали?.. Ладно, — голос прозвучал
деловым нетерпением, — устрою вам лодку.

И неожиданно попал в цель.

Лодка находилась у причала речного трамвая, почти напротив
колокольни, и весла там же — в сараюшке. Рыжий принес весла,
отомкнул лодочную цепь, а ключи отдал Сергееву. Тот вручил ему
положенную мзду. Все недолгое время их общения Сергеев чувствовал,
как ток, владевшее рыжим нетерпение, но сейчас любопытство
пересилило саднящую гортань жажду: вместо того, чтобы сразу взять
старт, рыжий топтался на берегу в своих матерчатых шлепанцах
и короткой маечке, открывавшей белый веснушчатый живот. Сам не
зная почему, Сергеев не хотел, чтобы этот настырный человек знал,
куда он поплывет. Достав со дна лодки старую консервную банку, он
принялся неторопливо вычерпывать вонючую воду.

— Смотрите, стемнеет! — встревоженно крикнул рыжий.

— Смотрите, магазин закроют! — в тон ему отозвался Сергеев.

И это сработало.

Выждав, когда длинновязая фигура, проплывав в свете за-
жегшихся уличных фонарей, скрылась за поворотом, Сергеев
оттолкнулся от берега.

Вода уменьшает расстояние вдвое, Сергеев был готов к тому, что
колокольня окажется куда дальше от берега, чем казалось. Он сильно
работал веслами, из которых одно было короче другого, отчего нос
лодки упорно заворачивал прочь от колокольни. Сергеев следил за
гребками, пытаясь за счет толчка уравновесить неравенство рычагов,
но это мало помогало. словно некая посторонняя враждебная сила
уводила его от цели. Он сел лицом к носу лодки, грести так было
неудобно, зато теперь он мог придерживаться курса.

Бурая вода тихо плескалась у бортов, но не отбегала их, и все же
темный громозд медленно надвигался. Закат долетал у линии
горизонта, колокольня отбрасывала на воду длинную тень. Теперь по
всей береговой округе зажглись огни, в стороне пристани они
располагались ярусами, будто там вздымалась гора, ночь и огни
возвеличили малое всхолмье.

Смотреть на далекие берега не стоило, тогда вовсе исчезало
ощущение движения. А между тем колокольня зримо вырастала,

словно вытягивала из воды свое потопленное нижнее тело. И Сергеев чувствовал холодок под сердцем. Тут, наверное, ничего не поделаешь, древняя языческая память хранится в глубинах составляющего нас вещества и умеет внести смятение в рациональное, чуждое суеверий сознание. Смятение — слишком сильное слово, а все же одиночество, ночь, вода и соединившая тьму воды с тьмой неба каменная невероятность пробудили что-то «неандертальское» в душе. Не хватало лишь одного, и оно свершилось: глубина ожила, издала тоскливый вопль и метнула черное из себя — большая птица, опавшая на лицо воздухом из-под крыльев, пронеслась над лодкой.

Через широкий проем в стене Сергеев проник внутрь колокольни. Перекрытия ярусов рухнули — где целиком, где частично, — наверное, от взрыва, уничтожившего все другие строения, и тьма, тронутая изнемогающим в закате светом, возносилась под худой купол, в который заглядывали еще неразличимые снаружи звезды. Пахло сырым камнем, плесенью, илом, отложившимся на стенах, застойной водой и еще чем-то — птичьим пометом, спертым духом животного существования и занесенной людьми нечистоты.

Сергеев задел стену веслом — звук, круглый, гулкий, похожий на глоток, не исчерпался в себе самом, обрел протяженное существование в одетой камнем тьме. Он отскочил от стен, отгулкнул над головой и вдруг разбился стеклянной тарелкой в последней вышине. Когда-то Сергеев любил игру эха, но в старости нарочитые эффекты природы стали раздражать, как «Диснейленд». Сергеев затих в лодке, не прикасаясь к веслам и удерживаясь от всяких движений. Это подарило тишину, и стало хорошо.

Вверху, где звезды, послышался слабый вздох. Затем повторился с легким отзвоном. Вновь долгий нежный стон, истончаясь, стек к воде и поглотился ею. Тут не было даже милой игры, — проникающая печаль, музыка сфер, подхваченная необыкновенным инструментом — флейтой-колокольней.

И это оказалось вступлением к долгой песне без слов, которую завел, чтобы исполнить до конца, ночной ветер на каменной дудке. С силой проталкиваясь в ее звучащее тело, он рождал протяжные, редкой нежности и красоты звуки, изредка искажавшиеся захлебным воем в куполе — взвинтилось вдруг и сразу оборвалось. И вновь льется мелодичная жалоба, похожая на щемящую ноту юродивого Николки в железной шапке. Сравнение пришло много позже, когда Сергеев вернулся домой и, ворочаясь без сна, силеня понять, что напоминали ему преображенные сетования ветра.

Сергеев забыл о часах и не знал, сколько времени провел в каменном теле музыкального инструмента. Уже когда музыка, постепенно истаявая, замолкла, он все боялся пошевелиться, чтобы грубой игрой эха не помешать эоловой арфе, но ветер окончательно стих, и, осторожно оттолкнувшись веслом, Сергеев выплыл наружу.

Два фонаря на берегу возле причала дали точное направление. Он сел на весла, как положено, и вскоре уткнулся в берег.

На следующее утро он отправился в путь чуть свет. Тихое пасмурное утро как-то нехотя сеяло дождевую пыль, приметную лишь бисером на рукаве куртки. Сергеев куда быстрее вчерашнего добрался до колокольни и вплыл в уже знакомый проем, родив булькающее, полаягушечьи ускакавшее вверх эхо и спугнув стайку воробьев. Было сумеречно, но все же сюда проникало достаточно света, чтобы разглядеть надписи на стенах: имена и даты посещения, иной письменности, позорно испещряющей стены заброшенных церквей, не было. И на том спасибо. Едва слышно шуршал дождь, но музыка молчала. Тот незримый, что так старался вчера, не хотел приложить к губам каменную флейту. Сергеев вспомнил, как тихо было на улице: и листья и трава будто оцепенели, а дождик-сеянец не мог шелохнуться и былинки; так же натихла приютившая колокольню большая вода — дождик-сеянец даже рябинками не мог ее покрыть. Ну что ж, слушай тишину, она тоже музыка, быть может, наисовершеннейшая, которую слышишь не ухом, а душой.

Сергеев долго сидел в лодке. Вернулись воробьи, потом прилетели мокрые озабоченные голуби и устроились в каких-то расщелинах и впадинах. Но эхо, видно, отсырело и не откликнулось верезгу крыл...

А поздним вечером, когда Сергеев уже собирался лечь спать, вдруг яростно хлопнула форточка. Где-то треснуло, ухнуло, похоже, обломился сук дерева. Сергеев выглянул в окно. На расчистившемся ночном небе морозно сверкали звездная россыпь и рогулька молодого месяца. Ветер раскачивал фонари, и тени деревьев, домов, столбов метались по озаренной земным и небесным светом улице. А и выло же, и свистело же в этой обнажившей свои бездны ночи!

Сергеев надел куртку и вышел на улицу. Ветер, накинувшись сбоку, привалил его к воротам. Сергеев с трудом отлепился от жестких досок и, налегая грудью на тугую струю, как бурлаки на лямку, пошел вперед. Свернув за угол, он получил ветер в спину, теперь пришлось притормаживать, словно при спуске с горы.

А на воде Сергеев обнаружил, что в пространстве сшибаются два ветра и поочередно берут верх. То его несло к колокольне так, что он не поспевал веслами за лётом лодки, то гнало назад и, расходуя себя до конца, он мог лишь оставаться на месте. И пушечно хлопали незримые полотнища. Что же делается там, внутри серебристо светящейся в прозорах, будто источающей собственный свет колокольни? С чуть натянутой улыбкой Сергеев думал, что сегодня узнает, как озвучены брукенские ассамблеи, когда шабаш в полном разгаре.

Он ошибся — необыкновенный музыкальный инструмент умел брать из разнуждавшейся стихии лишь нужное для своих целей. Конечно, не тонкая жалоба божевольного Николки у царского

крыльца, не девичьи нежные охи да ахи наполняли непривычно высвеченное каменное тело, но перелился тут волчий вой полуночника в мелодичные звоны, и хоть чаще прежнего случались щемяще-пронзительные оскользя, побеждала гармония: пусть в этой благостройности преобладали тоска и мука, но не хаос, не распад, за болью угадывалось спасение, пробуждение каких-то новых странных сил. Сергеев, наверное, задремал, в короткий провал сознания ускользнули видения, навеянные музыкой, но, быть может, все, что нагрезилось и скрылось, когда-нибудь обнаружит себя в душевном настрое, или в рабочем озарении, или в поведении, в жесте добра, нечаянной радости или важной печали?..

...На другой день Сергеев проснулся от сильного стука. Кто-то колотил каблуком во входную дверь. Накинув спортивный костюм, он открыл. Там стояли дети: две девочки и мальчик. Они застенчиво поздоровались, и двое сразу отступили от двери. Старшая девочка — худенькое восковое личико, очень светлые, почти белые слабые волосы — храбро попросилась зайти — взять лопаты.

— Огородники? — улыбнулся Сергеев, пропуская девочку в коридор.

— Ага, — подтвердила пришелица и утерла под носом тонким пальцем, на котором Сергеев с удивлением заметил след маникюра. — Ну, что же вы? — повернулась она к приятелям. — Забирайте!

Дети вошли и привычно направились в глубь коридора, где в чулане хранились лопаты, тяпки, грабли, разные инструменты.

— А Люда чего не пришла? — поинтересовался Сергеев — добросовестный ответственный съемщик.

Девочка глянула на него, неловко усмехнулась, как над нелепой шуткой, и снова утерла под носом, видно, продуло ее на ветру. Когда она брала лопату, черный, сильно поношенный ватник распахнулся, обнаружив вполне сформировавшуюся грудь под серой водолазкой и острый, гусиной гузкой, животик. Привет тебе, пронизательный художник, островидец и остромысл!..

— Не сердитесь, Люда. Вы так молодо выглядите, мне и в голову не пришло... Спасибо вам огромное, что густили меня.

— Ну, о чем вы? — восковистые, бледные щеки чуть порозовели.

— Тетя Люд, — сказал мальчик, смешно и трогательно, поскольку был он на голову выше «тети». — Мы начнем помалу?..

— Да, да, идите. Я сейчас...

Ей что-то нужно было в комнате. Сергеев извинился за неубранную постель. Дети ушли, гремя лопатами, а Сергеев с хозяйкой дома прошли в горницу. Люда принялась шарить в комод.

— Кофе? — предложил Сергеев.

— Кофе есть,— сказала она поспешно.— Целая банка. Растворимое. Сейчас принесу.

— Зачем? Я вам хотел предложить!

— Спасибо. Мне нельзя.

— А работать в огороде можно?

— Немножко, для вида. Чтобы ребят подбодрить.

Она отвечала быстро, тихим, неокрашенным голосом, словно издали, и не смотрела в глаза. Достав из ящика носовой платок, она сунула его в карман ватника. Сергеев надеялся, что она о чем-то спросит и тем поможет хоть как-то оправдать вторжение в ее дом. Но она не спрашивала.

— Я вас, наверное, стесняю?

— Чего?.. Я ж — у мамы.

— Все-таки...

— Квартира пустая. Здесь никто не живет,— впервые ее голос окрасился, и сразу проглянул характер.

Автоматизм ответов, отрешенный взгляд не давали подступиться к ней, а сейчас, пусть в ничтожной малости, ощутилось твердое ядрышко личности, и сразу все стало проще. Сергеев спросил, что можно посмотреть в городе.

— Был музей. Сейчас закрыли. На инвентаризацию.

— А еще что?

— Мы одним знамениты.

— Колокольня?

Она кивнула.

— У меня лодка. Я там — каждый день.

— Я, когда молодая была...— начала Люда и замолчала.

— И что случилось в те давние годы? — улыбнулся Сергеев.

Она не отозвалась его улыбке, просто не поняла ее.

— Мы ходили туда. С Мишкой. По льду. Он мне там предложение сделал. Я и не думала ни о чем таком — Мишка и Мишка... Со школы его знала... Как раз сочельник был. Пуржило, мело, а там музыка. Вроде вальса... В общем, поженила нас эта колокольня.

Она впервые улыбнулась, и от этой натушной, одними губами, некрасивой улыбки лицо ее стало старым. И вот такой старой девочкой она пошла работать.

На стенах висели фотографии. Сергеев, разумеется, видел их, но не разглядывал. Он внезапно свалился в опустевшее гнездо, никак не подготовившееся к постороннему вторжению, и щадил эту беззащитность перед чужим взглядом. Но сейчас его словно привлекли к соучастию, и сознательная отстраненность от окружающего из деликатности превращалась в холод, равнодушие.

Все снимки были сделаны во время свадьбы. Наверное, существовали и другие фотографии, но для них не нашлось места на стенке. Все было слишком незначительно перед величайшим событием

жизни. Да и что могло сравниться с волшебным мигом, когда худенькую, едва достигшую семнадцати девочку облекло длинное белое платье, голову накрыла воздушная фата, а руки отяжелил букет белых роз. И рядом с ней, вместо кражистого, потного, пропахшего соляжкой шоферюги, возник благоухающий «шипром» джентльмен в черной паре, лакированных туфлях, белой сорочке с крахмальным воротничком и темным галстуком. Даже на этих тускловатых фотографиях было видно, что воротничок жмет короткую толстую шею, а галстук душит, как захлестка, что молодому тесно и непривычно в щегольской одежде, в отличие от невесты, с врожденной грацией влившейся в новый образ, хотя и чуть подавленной неожиданным великолепием обряда. Но ни воротничок, ни галстук, ни жмущий в проймах пиджак не мешали жениху цвести радостью и распирающей юной силой, и как странно, что силы-то как раз не было, крепкие скулы, борцовые плечи, широкая грудь — все было обманом, завися от милости слабенького, нежизнеспособного сердца. Он не был красавцем, этот парень, с глубоко упрятыми меж скулами и лобной костью медвежьими глазками и жесткими, не поддающимися ни гребенке, ни щетке темными волосами, безнадежно распадавшимися над ушами на два прямых крыла. Но в каждой его позе ощущались трогательная серьезность и надежность: и в том, как он надевал кольцо на палец невесты, и как выслушивал наставительно-казенное поздравление загсовой тетки, и в том, как расписывался в книге гражданских актов, подперев щеку изнутри языком, и как подводил новобрачную к плите с трепещущим огоньком вечной памяти, и как стоял над могилой, по-солдатски вытянувшись и чуть потупив голову, и как пристраивал букет цветов у надгробья, и как истово и бережно исполнял обряд «горько», и как доверчиво, благодарно улыбался невесте, оторвавшись от ее губ, и как отвечал на тосты, и как разливал вино и накладывал закуску гостям. Надежного и чистого человека уложил сердечный спазм в снежную могилу февральским вьюжным днем.

Если сказать коротко: от жениха оставалось впечатление огромной, во всю душу улыбки. А от невесты?.. Ее образ был сложней, зыбче, затаеннее. Чаще всего выражение худенького лица, больших всполошенных глаз читалось: ну, постыдились бы так с ребенком!.. Но порой в ее чертах мелькала решимость, воля к чему-то... Им оставалось совсем мало времени быть вместе, но они успели очень ладно и полно оснастить свою жизнь, устроить ее серьезно и ответственно. Может быть, это направление ее воли?..

На комод под фотографиями лежала недельная программа московских театров и вкладыш-программка спектакля «Вольный ветер» Театра оперетты с отмеченными галочкой исполнителями того утренника, на который ходили Люда с мужем. Такие спектакли всегда идут вторым составом, народные и заслуженные артисты в нем не

участвуют, и, наверное, это было обидно начинающим театралам. В программку вложены билеты на троллейбус и счет из ресторана «Якорь» — реликвии светской жизни, изведенной за три недели до того дня, когда Миша остался «один посреди России».

Вечером Люда занесла инструменты. Сергеев сказал, что завтра, самое позднее — послезавтра он уедет. Кому отдать ключи?

— Никитишне... тете Даше, — отозвалась Люда рассеянно. Затем, будто всплыв из глубины, добавила: — А чего вам?.. Поживите.

— Да нет, пора.

Она подошла к рамке с фотографиями и поправила ее. Сергеева поразил этот жест. Он не прикасался к фотографиям, а взгляд его не обладал таинственной силой двигать предметы. Но ведь утром Люде не пришлось в голову трогать рамку.

— Красивая у вас была свадьба! — сказал он, угадав жест-подсказку.

— Ох, да!.. — сразу откликнулась она. — Все так говорят. А я и не видела толком, как в тумане... Я вообще ничего не видела.

Она взяла Мишину карточку в черной рамке, стоящую на буфете.

— Какой он был хороший парень! — сказала она, вглядываясь в широкоскулое простецкое лицо. — А знаете, я не успела его полюбить. Он-то любил, а я... Одно только знала — лучше парня не сыскать. А этого мало... Люби я его по-настоящему, он бы остался. Да, да. Я ждала бы, беспокоилась, каждый бы его шаг знала и подхватила бы...

«Вот через какой ад ведешь ты себя, — думал Сергеев. — Ты выбрала самый мучительный способ уцелеть, но, наверное, единственно приемлемый для такого сильного существа. Хотя на самом деле ты ничего не могла сделать, разве лишь — чтоб не лежал он так долго «один посреди России». Но говорить вслух не стал, потому что это была бедная правда...

...Я мало знаю про девочку Люду, но все знаю про тебя, Сергеев. Иногда мне кажется, что я выдумал тебя, чтобы видеть со стороны собственное старение и не сдаваться на последней прямой. Так вот, слушай. Старая полузатопленная колокольня превращает в музыку вои и стоны непогоды, Люда вынашивает новую жизнь, бесстрашно вглядываясь в свое прошлое, ты им вовсе не нужен. Но живи так, будто без тебя не обойдутся ни камень, торчащий из воды, ни девочка-вдова. Тогда ты и сам спасешься ими.

БОЛДИНСКИЙ СВЕТ

1

Мне хотелось добраться до Болдина путем Пушкина: через Владимир, Муром, Арзамас, Ардатов, Лукоянов. Пушкин ехал на тройке, я — на машине, на моей стороне было преимущество скорости, на его — проходимости: никакой вездеход не сравнится с русской лошадкой. Поэт предсказывал, что хорошие дороги будут в России лет через пятьсот, минуло всего лишь полтораста с дней зловещего пророчества, но это не остановило ни меня, ни моих отважных спутников: инженера-журналиста Маликова и водителя Геннадия. Безумству храбрых!..

До Мурома, где заночевали, мы катились как по маслу. Утром, на выезде из города, застряли часа на два у переправы через Оку — понтонный мост был разведен, чтобы пропустить грузовые пароходы, нефтевозы, самоходные и влекомые задышливым буксирчиком баржи. Время прошло незаметно: приятно было смотреть, как громадные суда проскальзывают в казавшуюся с берега очень узкой щель, и прекрасен был наш муромский крутой зеленый берег. Среди плакучих берез, ветел, уже заморозивших кленов белели старые церкви с почерневшими куполами, над которыми висели птичьи стаи.

А потом мы переехали на ту сторону Оки, борзо промчались десяток-другой километров, и в смущенной памяти ожили вещие слова поэта. Шоссе, да еще асфальтовое, знай себе тянулось полями, болотами, погорельями губительных торфяных и лесных пожаров начала семидесятых: среди черных, будто обгрызенных стволов пенилась кустарниковая поросль — не выростали деревья на пожарище, лишь кусты и высокая, слабая трава, — но ехать по этому шоссе было невозможно — сплошные ямы, колдобины и черные глубокие лужи. Откуда они взялись, когда все пересохло, почти как и в том страшном огнепальном году! Болотистые земли нехорошо курились, воздух горчил, и раз-другой вдалеке, в перелесках, мелькнуло пламя, но настоящего пожара мы так и не увидели. Дорогу же, гордо нанесенную на карту, пришлось оставить и пробираться обочь, то большаком, то наезженными по целине, довольно прочными колеями, то по песчаной пыли, не хранящей следов, что было немного обидно, поскольку мы прокладывали путь идущим за нами. Лишь бы до Арзамаса добраться, там начнется превосходное шоссе на Саранск через Лукоянов, откуда до Болдина рукой подать.

Нервическое состояние, пользуясь старинным слогом, в которое повергла нас боязнь завязнуть и бог весть сколько дожидаться подмоги, слегка скрашивало однообразие и одуряющую незаполненность пути. Расстилающаяся вокруг равнина с уже убранными

полями, с купами деревьев по горизонту не давала зацепки глазу. Даже птиц не видно. Редко-редко подпрыгает хвостиком трясогузка у выпота, угрюмо глянет ворона с телеграфного столба, медленно перелетит дорогу длиннохвостая сорока.

А как чувствовал себя Пушкин в своем подпрыгивающем на ухабах, переваливающемся с боку на бок возке? Мы-то и по бездорожью меньше тридцати — сорока не держим, а с какой скоростью тащили его заморенные лошаденки? Верст десять в час, не больше. Да ведь эдак с ума сойдешь! А Пушкин любил ездить, и если жаловался в стихах на скуку и удручающее однообразие дорожных видов: «Глушь и снег... Навстречу мне только версты полосаты попадаютются одне...», — то это была чисто поэтическая жалоба, литературная скорбь, не имеющая отношения к тому живому удовольствию, с каким он пускался в путь. Он наездил за свою короткую жизнь тридцать пять тысяч верст. Пушкин был на редкость легок на подъем, причем любил ездить один — ямщик не в счет. Легкий, общительный, он радостно вверял себя долговому дорожному одиночеству. Ему не приедался даже известный каждым поворотом, каждым ухабом, каждой будкой, шлагбаумом, верстовым столбом Московский тракт. Но будь я Пушкиным, мне бы тоже не было скучно. Разве гению может быть скучно наедине с собой? Теснятся мысли, образы, неиссякающая внутренняя наполненность преобразует окружающее, делает его участником твоей напряженной душевной работы. Хорошо быть гением!.. И как странно, что на самом деле Пушкин не мог ни упиваться собственными стихами (просто не мог читать Пушкина), ни ощущать свою исключительность как непрерывное наслаждение. Он любил дорогу — хорошо думалось в карете, но и ему бывало скучно, томительно, отчаянно, и он вовсе не помнил о том, что гениален.

А вообще люди прошлого, воспитанные на других скоростях и ритмах жизни, обладали иным ощущением времени. Они жили на дни, как мы — на часы. Собираясь в гости к Льву Толстому в близлежащую Ясную Поляну, мудрый помещик Фет был заранее готов к тому, что путешествие его продлится не один день. Правда, никто не ездил так страшно, как осмотрительный Афанасий Афанасьевич. Его возок то опрокидывался, то проваливался под неокрепший или растаявший лед, то рушился мост, то на всем разгоне слетала чека, то загадочно вспугнутые лошади пускались вскачь под гору. И пока чинили разбитый экипаж или сани, порванную сбрую, треснувшую дугу коренника, сломанные оглобли, меняли лошадей, а застудившегося, ушибленного Фета отпаивали чаем с малиной, настояями трав, бальзамом, горячим вином с пряностями, смазывали целебными специями, растирали и примачивали, — утекали часы, случалось, целые сутки, но поэт не роптал на задержку и бодро пускался в дальнейший путь или обратный, коль последствия дорожной беды

оказывались слишком тяжелы. Но и в последнем случае, окрепнув и произведя необходимый ремонт, Фет снова отправлялся к своему великому другу, чтобы услышать от него резкие упреки, выговоры, а то и разносы за неправильную, суетливую жизнь, но, бывало, — и похвалы новому стихотворению.

Хорошо, что мне подвернулся под руку Фет, — миновали шесть ужасных километров. Больше никаких мыслей не было. Оставалось — томление скуки. Читать невозможно из-за тряски, разговаривать нам с Маликовым было не о чем — мы знакомы пятьдесят лет и за это время уже все обговорили, выяснили и пришли к согласию по всем пунктам. Нужно какое-то событие, толчок извне (толчки на ухабах не в счет), чтобы у нас появилась тема хоть для короткого разговора. Иначе стоит одному открыть рот, как другой уже знает все, что тот может сказать. Водителя нельзя отвлекать — дорога слишком опасна. С некоторым раздражением вспомнилось о Пушкине, пославшем нас в путь. Ведь результатом вояжа должен быть альбом о Болдине: нынешние виды — в фотографиях и рисунках, и литературная реставрация тех ошеломляющих дней болдинской осени 1830 года, после коих невзрачное, никому не ведомое село Нижегородской губернии, Сергачского уезда стало синонимом вдохновения. Да не просто вдохновения, а невиданного в истории вулканического извержения творческой силы.

И тут я стал припоминать, зачем и в каком состоянии ехал Пушкин в Болдино. Он ехал улаживать материальную, как сказали бы сейчас, сторону предстоящей женитьбы. Никак не мог он сладиться с матерью Наталью, в которой разнуздалось все самое скверное, что от века является сутью сварливой, злобной и глупой тещи. Она ставила непременным условием, чтобы от жениха было приданое, а где взять? Холодно-слезливый и скупой Сергей Львович расщедрился и отдал сыну «часть недвижимого имущества, состоящего в сельце Кистене-ве» — двести «мужеска» душ, заодно обязав его разобраться в губительно запущенных делах родовой вотчины — Болдина. Довел зажиточное село до разора приказчик Калашников, крепостной человек Пушкиных. Предстояло столкнуться — впервые — со страшным чернильным племенем — крючкотворами-чиновниками, способными запутать и простейшее, самоочевиднейшее дело, а дела беспечного Сергея Львовича пребывали в удручающем беспорядке. Словом, впереди не светило. А позади светила несказанная прелесть юной невесты, но на любимые нежные черты, словно нанесенные тончайшей китайской кисточкой на розово-золотую гладь, наплывали досадно схожие, огрубелые, искаженные алчностью и недоброхотством черты Гончаровой-матери, и мерк последний, нагоняющий издали свет. Нет, не в благости, не окрыленный надеждой ехал Пушкин к родовому гнезду в разболтанной карете, то подпрыгивающей, то кренящейся на ухабах, то грозящей опрокинуться, а мимо

окошек неспешно влеклась великая пустота российских полей, и откуда-то из глубин этой пустынности уже надвигалась холера, которая запрет его в Болдине, и он будет метаться, как зверь в клетке, рычать и плакать от беспомощности, пытаться бежать и расшибаться лбом о карантинные заставы. Из скрута болей, тревог, надежд, промахов и каких-то еще не разгаданных тайн мы, паразиты, получим дивную лирику, последние главы «Евгения Онегина», маленькие трагедии, «Повести Белкина»...

Я все-таки задремал. А когда очнулся, мы уже не тащились обочь дороги, а мчались по иссиня-лиловому, недавней заливки шоссе навстречу чуду. Как назвать то, что явилось нам меж землей и небом на вершине холма, будто преграждающего дальнейший путь?.. Впрочем, есть палочка-выручалочка у русских писателей, когда им нужно передать потрясенность от внезапного явления прекрасного города — сказочный Китеж... Это действует безотказно. Не потому, что у каждого сложился с детства чарующий образ волшебного града, встающего из лона вод, не в подмогу и громоздкая опера Римского-Корсакова — ее почти не ставят, все дело как раз в неопределенности, смутности образа. Представляется что-то белое, сияющее, струистое, зыбкое, величественное, манящее и завораживающее. Так вот, не буду зря томить читателей: на взлете дороги, врезаясь возглавными в небесную синь, вознесся Китеж-град. Посредине высился громадный, мощно окуполенный собор, перед ним, чуть ниже по склону, раскинулся то ли монастырь, то ли обширное церковное подворье, еще один собор выглядывал золотыми крестами из-за спины главного, в курчавой зелени, обрамлявшей эту картину, белели портики старинных зданий, синее безоблачное небо поблескивало ослепительными кристалликами.

— Господи, да что же это такое? — воскликнул я.

— Арзамас,— хладнокровно ответил мой друг Маликов.— Город на холмах.

Этот город проезжал Пушкин, здесь позже отплясывал на балу.

Когда Пушкин въезжал в Арзамас, он видел великолепный Воскресенский собор, заложенный в память войны 1812 года, еще в лесах, а достроен собор был уже после его смерти. В первый раз Пушкин не задержался, только сменил лошадей и помчался дальше, торопясь разделаться с докучными делами. Потом он не раз бывал здесь, но неизвестно, свел ли знакомство с замечательными местными людьми: зодчим Коринфским, строителем Воскресенского собора — «приволжским Ворониным», и еще более удивительной личностью — художником Ступиным, «боярским сыном», байстрюком, учившимся из милости в Санкт-Петербургской Академии художеств и создавшим первую в России провинциальную художественную школу, в которой учился и академик Коринфский...

Но уж верно слышал Пушкин, что в пору расправы над разинцами виселицы и шести с насаженными на них головами стояли от Ардатова до Арзамаса; через Арзамас провезли в клетке Пугачева, и когда местная купеческая женка накинулась на него с проклятиями, узник так зыркнул черными цыганскими очами, что та грохнулась без памяти.

На обратном пути мы задержимся в Арзамасе и проведем здесь целый день; старожилы, хранители и накопители духовных и вещественных ценностей отчего края приблизят нас к душе необыкновенного русского города, заслуживающего особой песни.

А сейчас вперед, чтобы засветло добраться до Болдина. Мы держим путь на Ардатов, оттуда на Лукоянов. Здесь мы с огорчением узнали, что прямая дорога в Болдино, всего тридцать — сорок километров, непроездна. Вот досада — так долго следовать за Пушкиным, можно сказать, колесо в колесо, и потерять его почти на финише. Выходит, что три живые лошадиные силы мощней, чем шестьдесят, сжатых в автомобильном двигателе. Нам надо ехать в сторону Саранска, а перед железнодорожным переездом свернуть налево. Дорога хорошая, лишку в шестьдесят километров — и не заметим.

Сгоряча мы промахнули поворот и спохватились, когда пейзаж резко изменился: вместо лощины — округлые всхолмья, покрытые черными квадратами хорошо возделанных полей. Мы поняли, что, проморгав пограничный знак, вторглись на территорию Мордовии, поставившей в пушкинские времена смелых и выносливых кулачных бойцов на деревенские ристалища.

Развернувшись, мы покатали назад и на этот раз не пропустили погранзнака с эмблемой Мордовской республики, точно вписались в поворот и вышли на прямое и гладкое шоссе. Дорога, по которой приехал в Болдино Пушкин, находится под прямым углом к этому шоссе и ведет прямо к усадьбе.

По календарю мы прибыли в Болдино почти в одно время с поэтом, но если учесть разницу между новым и старым стилем, то дней на десять раньше. Осень тронула желтизной березы, пустила мраморные прожилки по пятерням кленов, подсмуглила листья осин, но до золота и багреца, столь любимых Пушкину, еще далеко, в просторе царит зеленый цвет под чистой синью. И все это хорошо освещается теплым розовым солнцем, начавшим снижение над Лукояновым, откуда полтора столетия назад примчался Пушкин, чтобы осуществить предначертание рока: добыть денег для женитьбы, сочетать брак с первой красавицей России и подставить грудь под пулю...

Я не собираюсь описывать мемориальную усадьбу и все музейные достопримечательности. Существует немало весьма квалифициро-

ванных брошюр, где обо всем этом сказано обстоятельно, любовно и лукаво, ибо нигде прямо не говорится, что предлагаемое взгляду экскурсанта всего лишь возможный вариант пушкинского гнезда.

Усадьба Пушкиных не стоит наособь, как в Михайловском, а прямо посреди села, ставшего ныне крупным районным поселком, с кварталами высоких типовых домов, административным, весьма представительным центром, с великолепным кинотеатром «Пушкин», где идет «Петровка, 38», с рестораном, магазинами, в том числе очень неплохим книжным, там продавались: «Повести Белкина», публицистика Евушенко с богатым иконографическим материалом и множество книжек и брошюр, посвященных Пушкину. Мы жадно и бегло осмотрели районный центр, но в его новостроечную часть, где жила сотрудница музея Лада, с которой мы связывали надежды на устройство, проехать не удалось по причине чудовищной иссиня-черной грязи, натасканной на бетонные плиты уличного покрытия колесами тракторов. Этот край входит в черноземную полосу, но многие авторы утверждают, что крестьяне самого Болдина мучались на скудном суглинке, впрочем, черноземные кистеневцы бедовали ничуть не меньше. Мы кинули жребий, кому идти за Ладой, без нее нам крышка: в гостинице готовились к приему научной делегации, прибывающей в Болдино в честь стапятидесятилетия со дня завершения «Евгения Онегина», и поэтому отключили воду — для срочного ремонта водопровода. В должный час вода будет — до сессии еще два дня, но мы слишком закошлатились в дороге, чтобы столько ждать. Жребий пал, как водится, на меня, но черноземные хляби были мне по пояс, и в путь отправился, натянув болотные сапоги, длинноногий Маликов.

Пока Маликов ходил, жирная, будто живая грязь — она зримо дышала, то подымалась, как опара, то чуть оседала, чтобы вспучиться еще выше, — помаленьку засасывала нашу машину. Опытный водитель Геннадий вовремя заметил опасность и предотвратил беду, въехав на черный бугор, выросший, как потом оказалось, над потонувшим в грязи прицепом.

И тут появилась в сопровождении Маликова румяная Лада в высоких сапожках, она ловко, как козочка, проскакала к машине по каким-то лишь ей приметным бугоркам и кочкам, почти не запачкавшись, и провела нас на постой в другую часть поселка.

Мы попали в сельское Болдино, лежащее на взлобке. Длинная улица, затененная старыми липами и вязами, была тщательно заасфальтирована и чиста. Оказывается, в конце улицы поселился главный инженер крупнейшего болдинского предприятия, человек серьезный, умеющий требовать и с самого себя и с других; он поставил условием, чтобы подъездной путь к его гаражу был приведен в порядок, а тракторы и прочая сельхозтехника объезжали стороной магистраль, связывающую его с производством. Требование специали-

ста было уважено, и Болдино четко разделилось на тонущую в грязи новостроечную часть и чистую, пахнущую травой и древесной листвой — сельскую. Соединяются обе части поселка через образцовый центр, где запрещено всякое движение, кроме пешеходного; там, разумеется, есть Доска почета, куда, на мой взгляд, должно навсегда поместить портрет Пушкина как выполнившего и перевыполнившего план на вечность вперед.

Симпатичная и застенчивая Лада, не забывавшая краснеть хотя бы раз в минуту, привезла нас к дому тети Веры, о которой мы были наслышаны еще в Москве как об искусной рукодельнице, певуние знаменитого болдинского хора, гостеприимной хозяйке и вообще замечательном человеке. У нее всегда останавливается талантливый график, иллюстратор «Евгения Онегина» и мой соавтор по альбому Энгель Насибулин, создавший удивительные циклы маленьких гравюр, посвященных Пушкину; один из этих циклов представляет собой как бы раскадровку болдинского дня Пушкина от раннего пробуждения до отхода ко сну: Пушкин встает с постели, ежится, окатывает крепкое тело ледяной водой, одевается, кушает чай, пишет, досадуя на ускользящее слово, скачет на лошади, отдыхает под стогом сена, заглядывается на смазливую поселянку; обедает, читает... Ты с умилением наблюдаешь живого, теплого Пушкина, а не безжизненную с гранитного или бронзового пьедестала и не литературного генерала, прочитавшего посмертно все статьи о себе в энциклопедических словарях. Блестящий график, потомок тех, кто веками пробовал Русь на прочность — от Калки до поля Куликова, не речист, свое отношение к тете Vere он выразил на городской летней улице гортанным возгласом: «О!» — и так щелкнул мускулистым языком, что скромная ломовая лошадь в соломенной шляпке взвилась на дыбы, залиvisto заржала и помчалась туда, где степь и запах сухих трав, под которыми почва пропитана кровью былых сражений.

А мне тетя Вера поначалу «не показалась». Я был настроен на встречу с уютной, певучеголосой бабушкой, а предстала рослая, жесткая, горластая старуха на длинных, крепких ногах, с худым носатым лицом, тонкогубая, с глубокими глазницами, то выпускающими, то хоронящими острый, быстрый, пронизательный взгляд. Я вспомнил, что тетя Вера вместе с соседкой тетей Пашей по отсутствию в Болдине церкви и попа отпевает покойников и в роде бы совершает какие-то требы — в последнее не верилось, поскольку в православии не рукоположенным это строжайше запрещено. Но, может, они сектанты?..

— Разуйтесь! — испуганно шепнула Лада. — В избу нельзя в ботинках, наследите.

— Курить там не положено? — осведомился Геннадий.

— Боже упаси!

Пока мы раздевались и переобувались в сених (Геннадий — высунув голову наружу, чтобы докурить сигарету), из горницы несло:

— Дверь плотней прикройте! Всю избу выстудите!.. Ты, Ладушка, чего шляешься взад-вперед, даром, что ль, я избу топила?.. Кошь входишь — входи! — Последнее относилось к Маликову, управившемуся раньше других. — Неча на пороге торчать!..

У тети Веры был очень низкий, почти мужской голос, ее узкое подвижническое лицо толкало мысль к старообрядцам, но эта чепуха отвеялась при первом же сближении с ней. Была она человеком современным, на редкость живым и заинтересованным и, как писал грузинский поэт, «познавшим мудрость, сведущим в искусствах». С этого и началось наше настоящее знакомство, когда тетя Вера водила нас шумелась по поводу грязи и беспорядка, неизбежно сопутствующих постояльцам, равно — скудости и тесноты своего жилища, неспособного угодить балованным московским людям. Тем самым она познакомила нас с правилами проживания в доме, а заодно и умалила свой быт, чем по контрасту привлекла внимание к его нарядности. Полы были застланы чудесными домоткаными дорожками, полосатыми, бахромчатыми по краям. В расцветке и подборе полос обнаруживался такой тонкий и точный вкус, что это натолкнуло наблюдательного Маликова на еще одно открытие: он углядел в ромбовидном окошечке одеяльного чехла жарптичью красу.

— Это лоскутное одеяло? — вскричал он.

— Она самая, — подтвердила тетя Вера. — Ишь, глазастый какой!

— Вашей работы? Можно посмотреть?

— Во дает! — Черноглазая тетя Вера обвела нас усмешливым взором. — Не успел в дом ступить, а уж все высмотрел. Как звать-то?

— Анатолием.

— Ага, Натоль, значит. А тебя? — Это относилось к водителю.

— Геннадий. Гена.

— Плохо! Тут полсела — Гены. У тети Нади покойный муж — Гена, сын Гена и племянш Гена. У другой соседки — внучек и теленок — Гены. Одного крикнешь — с десяток отзывается. Ты рулишь?.. Будешь Автогена — для отличия. — Она обратилась ко мне: — Ты, по волосам, старшой, представляйся полностью.

— Юрий Маркович.

— Маркыч, значит. А я: тетя Вера — тебе и Натолу. Автогена может бабушкой звать. Нет, я ему в бабушки не сгожусь. Тебе к сорока.

поди? А мне и семидесяти нет, я еще молоденька. А теперь глядите мою работу. Нешто вам Андель про нее говорил?

Едва ли тетя Вера знала, что точно перевела с немецкого слово Энгель, служившее именем сыну кочевого племени.

— Мне говорил, — честно признался Маликов. — Я, как вошел, все приноживаюсь. И половики вашей работы я у Энгеля видел. Да он о вас всему свету раструбил.

— Это ж надо! — засмеялась тетя Вера. — Вот не думала, что мое художество так знаменито!

Неожидан и удивителен был ее легкий смех при аскетически-скорбном лице. Смеясь, она разительно преображалась: древнее, иконописное исчезало без следа, щеки разурмянивались, из темных глаз искры сыпались, уголки тонких губ приподнимались, и что-то бесовское появлялось в ней. Небось лиха была тетя Вера в юные годы! Потом мы узнали, что в отличие от большинства своих соседок-вдов она прожила полную женскую жизнь, вот только детьми не болно ее бог побаловал, одной всего дочкой наградил, а той и вовсе детей не дал. Осталась без внуков тетя Вера. Но тоской о них не проговаривается, то ли считает, что нечего судьбу гневить, то ли умеет свое при себе держать. Каждый год с наступлением дождливой осени она уезжает в Иваново, где живет ее замужняя дочь. Поэтому не держит никакой живности, ведь пребывание ее в селе сезонное. У дочери тете Vere нравится, там магазин прямо напротив дома, с утра пошел и враз отоварился. Тетя Вера в городе не бездельничает: шьет одеялки из лоскутьев. А половики тетя Вера здесь ткет, у нее в сарае станочек.

— А как вы подбираете лоскутья? — спросил Маликов.

— Прыткий у тебя умок, — одобрила тетя Вера. — В самый корень смотришь. А как подбираю — секрет производства, — она радостно рассмеялась, — секрет от меня самой. Берешь лоскут, к нему другой, нет, чегой-то не сходится. А чего — убей бог, не знаю. Меня раз Андель пытал насчет этого, так мы оба чуть не до слез дошли. Дикие у тебя, говорит, сочетания цветов, тетя Вера, все не по правилам, а красиво. Откуда ты знаешь, что так можно? А я и не знаю, только вижу, что это хорошо, а это плохо. Подумал Андель: нет, говорит, всежки, я не ухватываю. Ну, а если ты сюда не синий, а желтый лоскут кинешь?.. Нельзя. Я о пунцовом бордюре мечтаю, а ему с желтым не спеться. Андель даже пригорюнился. Неужто, тетя Вера, ты всю эту одеялку распеструщую заранее видишь? Нет, отвечаю по всей правде, ничего не вижу, это душа моя видит. И я ее слушаюсь. Он задумался и говорит: может, ты гений? Чего?.. Обрато лоб наморщил. Пушкин — гений, поняла? Поняла, говорю, значит, я — лоскутный Пушкин. Сроду так не смеялась, как с энтим Анделем.

— Энгель хвастался, что у него три ваших одеяла на квартире, — сказал Маликов. — Я там не бывал, только в мастерской.

— А как же! — горделиво подтвердила тетя Вера. — Андель три одеялки увез. Совсем меня разорил.

— Да ведь приятно, поди, что ваше искусство по свету расходуется?

— Как тебе сказать? — притуманилась тетя Вера. — И приятно и больше жалко. Сейчас ваты подходящей нету. Белая не годится, она в комья и жгуты сваливается, ее никак не простегашь, а серой не достать. Я вот за зиму только пять одеялок пошила. Две ушли, одной, самой скромной, я сама накрываюсь, две для гостей: сильно веселенькая и задумчивая. Пусть в доме останутся.

— А ты хитрая, тетя Вер, — заметил Автогена. — Умеешь цену набивать.

Почему-то тете Vere необычайно польстило обвинение в прижимистости и деловой сметке. Она так смеялась, что вынуждена была присесть на кровать, крытую «сильно веселенькой» одеялкой, которую я твердо решил приобрести.

Между нами произошел тяжелый торг, едва не приведший к разрыву так ладно начавшихся отношений. Тетя Вера положила за одеяло пятнадцать рублей и на этой цене стояла насмерть. Я давал двадцать пять и тоже не намерен был уступить. Нас развел Натоль, быстро забравший за положенную цену «задумчивое» одеяло и к этому присовокупивший половик за семь рублей. Половик он попросил разрезать пополам и подшить бахрому к каждому куску. После этого тетя Вера дала уговорить себя на мою цену.

— Опять я без одеялок! — ужаснулась она, хлопнув себя по коленям большими кистями. — Ловко же вы меня окрутили!..

Кажется, тут я почувствовал впервые, что в Болдине легкий воздух...

Каким-то образом коммерческие трения не помешали тете Vere позаботиться о самоваре, и, когда предметы народного творчества обрели новых владельцев, она предложила попить чайку. Конечно, мы с радостью согласились и стали вываливать на стол свои припасы. Жена Маликова, образцовая хозяйка, наиболее основательно обеспечила мужа — и вареным, и жареным, и печеным, я оказался богат консервами, сыром «Виола» и колбасой; Геннадий украсил стол овощами, фруктами, крутыми яйцами и бутылкой какой-то кислятины — у него сегодня день рождения, о чем он со свойственной ему скромностью помалкивал. Кстати, лишь праздничные обстоятельства помогли нам усадить за стол тетю Веру, уже отобедавшую.

Тетя Вера принципиальная противница чревоугодия: она не ест мяса и наотрез отказалась не только от Натолиевой «убоины», но и от

колбасы, сардинок, баночной ветчины и даже от вовсе безобидного сыра.

— Зубов, что ль, нету? — спросил прямолинейный Автогена.

— Зубов полно, и своих и чужих. Внутренность не принимает. Я как приучена: утром бокальчика три чайку поплю с хлебушком, вечером — то ж, а днем картошечки вареной пожую — мой порцион. Больше не требуется.

Чаек тетя Вера сластила только кусковым сахаром, пиленный слишком быстро тает. Тщетно пытались мы соблазнить ее нашими разносолами.

— Я своим хлебушком сытая, — отнекивалась тетя Вера. — Видали, какой у нас хлебушко, небось такой выпечки и в Москве нету.

Хлеб в самом деле отменный — и мякиш и корочка, он ручной выпечки, и пекут его по старинному рецепту. Болдинцы так любят свой хлеб, что в пять утра бегут к магазину записываться в очередь, отмечая порядковый номер чернильным карандашом на ладони, в десять отмечают, а в одиннадцать уже все отоварились. За минувшее лето тетя Вера лишь раз осталась без хлеба, и то по своей вине: разломило ее что-то, поленилась отметить да и приползла в магазин, принцесса такая, чуть не в первом часу. А так, все с хлебом нормально, нечего бога гневить...

По ходу застолья рассеялись наши подозрения религиозного толка. Конечно, никаких служб тетя Вера с подругой своей тетей Пашей не служат, только отпевают покойников, поскольку наделены голосами и много лет пели в знаменитом местном хоре, гастролировавшем по стране. Сейчас от хора лишь прозвание осталось: главная запевала, тетя Алена, померла, отошел и один из певцов-мужчин, другой — обезножел, а звонкоголосую тетю Пашу замучил кашель. «Только и осталось, что покойников отпевать, — усмехается тетя Вера. — А раньше мы и в Ленинград ездили, и в Москву, и в Горький, и в Саранск, и в другие хорошие города. Нас в Питердвор возили, и в Троице-Сергиевскую лавру, по телевизору показывали и на фотографии сымали. Но вам мы обязательно споем, не сумлевайтесь».

— Чего ж вы не едите? — сказал виновник торжества.

— Ты меня не неволь. Я хлебушком сыта. Лучше налей мне еще бокальчик чайку.

И все-таки один продукт мы тете Вере навязали: Автогена прямо в рот ей вложил крошечный бутерброд с мягким сыром «Виола», тетя Вера ненароком жевнула и одобрила закуску: «Масло — не масло, а мягкая, маленько присолена, и с привкусом. Это вы мне, ребята, угодили. Пожалуй, я энтой замазки еще пожую».

Застолье пошло веселей, «Виола» способствовала сближению. Мы надеялись, что разговор сам собой свернет к тому, ради кого мы

приехали, но тетя Вера держала себя так, будто Пушкина тут сроду не видали. Слишком явным нажимом легко было ее вспугнуть, я пытался исподволь направить беседу в нужное русло. Эта тактика быстро наскучила Маликову, у которого несомненно есть мичуринская жилка: он не любит ждать милостей от природы.

— Да-а! — протянул он ни к селу ни к городу. — Как ни хорош болдинский хор, а раздавались отсюда песни позвончее!

— Это чем же тебе наш хор не угодил? — озадачилась тетя Вера.

— Не единым хором красна болдинская земля!..

— Это точно! У нас гончары исключительные. В Казаринове, тут недалеча. Цельное производство. Работают цветочные вазы прямо на Горький. Но главный их талант — посуда из черной глины. Такой нигде больше нет.

— Мне Энгель говорил! — вспомнил Маликов. — Она на металлическую похожа и даже звенит!..

— Чего тебе еще Андель нагородил?.. В этой посуде продукты не портятся, и запаха она не держит. Вот в чем ее секрет.

— А где бы такую достать? — загорелся Маликов.

— Заказывать надо. У гончаров. Вы на сколько приехали?

— Дней на пять. Геннадия на работу выходить.

— Не успеете. Глину ищут, готовят... У людей надо поспросить.

Намедни я гдей-то такую кринку видела.

— Вспомните, тетя Вера! — взмолился Маликов. — Мне необходимо... жене на годовщину свадьбы подарок.

— Очень у тебя, Натоль, живой ум, — одобрила тетя Вера. — Вот сразу и годовщина подошла. Коли вспомню, сведу.

— Вы бы нам чего о Пушкине рассказали, — бесхитростно брякнул Геннадий.

— А что?.. Мы к Лексан Сергеичу претензий не имеем. Под него нам и промтовары закидывают и продуктишки кой-какие... — Тетя Вера откашлялась. — Страна о нас не забывает... как мы, значит, земляки.

Надо было не дать ей укрепиться в этой интонации.

— Может, легенды какие есть? — перебил я.

— Чего?

— Легенды. О Пушкине.

— Да этого — сколь хошь! Вон брошюрки на окне — сплошные легенды. Лыгенды, как Андель говорит.

— Вранье, что ли?

— Да это он в шутку! Нешто дедушка Михай Сивохин чего врал? Все правда. Только с комариный нос. Почему рощу Лучинником прозвали и чего Пушкин сказал, когда кистеневские у него лошадь увели. Нету настоящей памяти. Это ведь теперь: Пушкин, Пушкин,

великий гений! В школах проходят. А тогда как? Ну, приехал барский сын. Народ об одном надеялся, что хоть сволоча старосту Михайлу Калашникова сменют. Он же и господ своих, как хотел, обчищал. А когда до края дошло, перевели его из Болдина в Кистенево. Тутощние мужики маленько вздохнули, а тамошние захрипели. Но главное вы усечь должны, что народ дюже неграмотный был. На все Кистенево, к примеру, только один мужик буквы рисовал. Никто стихов Лексан Сергеича не знал, да и кому они нужны были? И что он где-то исключительный гений — это все мимо. И что он в Болдине насочинял вагон с тележкой — тоже мимо. Был у него брат Лева, очень, говорят, с ним сходственный, ему потом и Кистенево отошло, то ли вся, то ли часть, и Болдино, но он сам только раз здесь появился, а вот сын его и внук всегда жили. Этих народ лучше помнит: Натоль Львовича и Льва Натолича, особо первого: большой был галант. А время прошло, и молва все Лексан Сергеичу приписала. Те были да сплыли, а этого весь мир чтит. Ну, и подарил ему чужие грехи и баловство. В одном народ не ошибся, что оценил Лексан Сергеич болдинскую красу... Будь здоров, Автогена, чтоб тебе баранку еще сто лет крутить, а посла у Ильи Пророка колесницей править. Там небось раздолье — дорожных показателей нету, катая по всем небесам хоть по левой стороне. Мазни-ко, рулевой, мне малость этой «Венолы», оно хорошо щипцепровод смазывает. И бокальчик чайку последний я себе набуровлю.

Откушав «чайку», тетя Вера, уже непонуждаемая, сама вернулась к пушкинской теме.

— Ученые люди, конечно, глубоко копают, только в стороне, народные пушкинисты, это которые малограмотные, вроде деда Михея, свою ямку роют, и мне очень любознательно, что тут между Лексан Сергеичем и девой Февроньей было.

— А чего было?

— Надо полагать, любовь. Мы, конечно, по научному не знаем, как там положено, это вам Ладушка скажет, а по-нашему, он засватать ее за себя хотел. И Михей Сивохин тех же мыслей. А он налично знал Лексан Сергеича. Натоль, протяни руку, за тобой книжка про болдинскую старину... Она самая!.. Сверху — улыбается — это Иван Васильич Киреев, который за дедушкой Михеем записывал, а внизу — наш хор. Вон и я свой длинный нос высунула. Натоль, ты грамотный? Прочи третий рассказ Сивохина.

Маликов откашлялся и с выражением прочел:

— «Во время пребывания в Болдине Александр Сергеевич ходил на прогулку к леваде. На этой леваде находился пчельник зажиточного крестьянина Вилянова Ивана Степановича. Здесь стояли пчелиная сторожка и колодец. А подле колодца росла липа, которая и сейчас

осталась в заповедном парке. Здесь и увидел Александр Сергеевич дочь Вилянова Февронью Ивановну, которая приходила днем на пасеку. По слухам, Александр Сергеевич ходил в эту сторону на свидания к Февронье, привез ей в подарок шелковое платье и будто хотел засватать за себя*.

— Ну вот,— сказала тетя Вера,— коротко и неясно. Когда он ей платье дарил? Ежели в первый раз, откуда платье взялось? Что он за ним в Лукояново или в Арзамас ездил и сам покупал? Глупости какие! А ежели во второй или в третий — так он уже оженился и поздно ему было Февронью сватать. Мебли,— тетя Вера с французским прононсом выговорила это странное слово,— он ей, верно, подарил, из дома, а платье... Ладно, не в нем счастье. Отец мог Февронье сто платьев купить, даже богатый мужик был. Он Лексан Сергеичу десять тысяч рублей занял, а тот, не отдавши, помер. Пришлось папаше его землей расплачиваться. Мы так полагаем, что Февронья знала о приезде молодого барина и нарочно ему у пчельника стрелулась. Ей уже под тридцать было, а все в девках — перестарок. А за кого ей выходить — кругом голь перекатная или пьянь, вроде мужа Ольги Калашниковой. А тут молодой барин из столицы, да еще стихи красивые про любовь сочиняет. Февронья-то грамоте знала. Едва ли она под венец метила, но хоть сердце согреть...— Тетя Вера вдруг звонко рассмеялась.— Ой, не могу, как подумаю об их первой встрече!.. Февронья-то небось красавца гусара намечтала, а Лексан Сергеич на обезьянку помахивал. Я видела Ангеля рисунки — маленький, верткий, курчавый. А Февронья мало что красавица, и высока, и величава, что твой белый храм на заре. Поди, и Лексан Сергеич обомлел, откуда это чудное видение? Иван Степаныч Вилянов ни в чем дочери не отказывал, наряды ей с самого Нижнего привозил, украшения всякие, пудру — Панпадур. Она всему была обучена и под гитару пела — про черную шаль. Это, конечно, посла узналось. А тогда глядели молча друг на дружку два человека и очаровывались.

— Как же они все-таки сладились? — спросил Геннадий.— Вы говорили, что любовь между ними была.

— Была. Да еще какая любовь! Он ей мебли из своего замка подарил и десять тысяч денег у ее отца занял. Февронья так замуж и не вышла, хотя в Арзамасе — они с отцом туда переехали — считалась по количеству первой невестой. Да, видно, нелегко после Лексан Сергеича другого к себе пустить. Прожила она сто три года, а ни одному человеку про Пушкина слова не сказала.

— Чем же Пушкин ее взял? — недоумевал Геннадий.

— А он — Пушкин, нешто мало? — спокойно сказала тетя Вера и, видя, что Автогена не усекает, снизила до объяснений: — Нам... хору нашему, как на первую гастроль ехать, лекцию читали, чтоб не

осрамились в случае, если насчет Пушкина пытаться начнут. Был он хоть невеличка, а грозной силы: палку о пять пуд и таскал, и кидал, как соломинку. На коне лучше цыгана-угонщика скакал, а разговором мог кому хошь мозги завить. Чего еще надо? Телом крепок, а сам нежный, дыхание чистое, белозуб и стихи читает. Пушкин даже с царицей роман крутил, за что царь ненавидел его люто и сам все его сочинения проверял. Разве устоять было простой деревенской девушке?..

— Жалко Февронью! — от души сказал Геннадий.

— А чего ее жалеть? — с достоинством произнесла тетя Вера. — Лучше день с Пушкиным, чем сто лет с дураком...

3

На другой день мы поехали по окрестностям. Начали с Апраксина, где жило дружественное Пушкину семейство, заглянули в Кистенево. Нас сопровождал сотрудник музея, прежде работавший в райисполкоме — умный и обаятельный человек Алексей Петрович. По дороге во Львовку, перешедшую от Льва Сергеевича к старшему сыну поэта, Александру Александровичу, мы испили из того заветного родничка, где любил освежаться Пушкин во время своих пеших и верховых прогулок, и навестили рощу Лучинник (см. путеводитель по Болдинскому заповеднику).

Деревня числится за совхозом, когда-то здесь находились телятники, но сейчас их нет. Экономически Львовка равна нулю, что упрощает, по словам Алексея Петровича, превращение ее в мемориал. Тут дотлевают несколько старух и девяностотрехлетний старик, а сезонно обитают в бывшей школе каменщики и плотники, восстанавливающие барский дом. Сельпо давно закрыто, но дважды в неделю сюда привозят хлеб, спички и соль.

Деревня красива: огромные старые вязы, липы — не обхватишь, клены, одичавшие яблони, груши, ягодники; заброшенная каменная церковь, повитая вьюнком, снаружи кажется целой, но внутри все разможено, что затруднит ее превращение в мемориальную «точку». Тут сохранились избенки более чем полуторавековой давности, иные — даже обитаемые. Когда мы проходили мимо крошечной, выросшей в землю, крытой корьем лачужки, у дверей гомозились две старухи: одна лет восьмидесяти, другая — разменявшая век. Приметив нас, столетняя костлягаша уперлась лбом в притолоку, вся растопырилась в дверном проеме, мешая дочери или сестре впихнуть себя в избу, и обратила к нам большое меловое застылое лицо, вдруг очнувшееся интересом к окружающему. Не забыть мне этого слабого света, мелькнувшего по белой маске и сделавшего ее лицом.

Девяностотрехлетний Матвей Иванович Коноплев, проживающий под присмотром двух дочерей, живая летопись здешних мест, еще

недавно крепкий, как кленовый свиль, резко сдал после смерти жены, с которой отпраздновал бриллиантовую свадьбу. Доконали же его потуги дочерей сводить его в баньку. Повели, вернее сказать, поволокли обезбожевшего старика дочери-старухи и уронили посреди двора. А он тяжеленек, даром что на самой скупой пище живет: утром кашки с молоком похлебают, в остальной день только чаем пробавляется, не подныть его дочерям. Кинулись на стройку: помогите, люди добрые, старичка уронили! Пришли каменщики, подняли Матвея Ивановича и отнесли в избу. «Все, — сказал он и утер слезу, — отмылся!» Ныне он встает только по нужде, но дочери содержат его чисто: протирают теплой водой. Сейчас старшая домой отлучилась, глянуть на хозяйство, а младшая всю жизнь при родителях прожила.

Мы думали, что неудобно тревожить спящего старика.

— Да он все время спит, — сказала Даша (по паспорту Варвара Матвеевна, но так прозвали ее в детстве, и на другое имя она не откликается). — Раньше до чего поговорить любил, а сейчас коли раскроет рот, так только об одном: доченьки, не продавайте корову, христом-богом прошу! Есть коровенка — выживем, нет — сойдем под вечны своды.

— Кормить нечем? — спросил Геннадий.

— Ясное дело. Нешто по нынешнему году могли мы сена насытить? Старики какой заботы требовали, а силенок у нас с сестрой — вдвоем комара убиваем. Купить — грошей нема, все на машины похороны ушли. Хошь не хошь, а придется сдать нашу Пеструшку.

— Варвара Матвеевна... Даша, — проникновенно сказал Алексей Петрович, — вы не сомневайтесь и ни о чем не думайте, мы все возьмем на себя: и машину дадим, и людей, и... — он изобразил руками тот продолговатый ящик, в котором наше бесчувственное тело отправляется в место вечного успокоения.

— Спасибо, Алексей Петрович, завсегда вы нам были как отцы. На мамин похороны триста рублей ушло, и это когда водку мы загодя купили!

— Не беспокойтесь ни о чем. Матвей Иванович заслужил. Он лично знал Александра Александровича, сына поэта, боевого генерала, героя Плевны.

— Папаня с ним на охоту ходил, — подхватила Даша, — тогда еще дича в наших местах водилась, и лошадку ему подавал. Как папаня интересно про все это рассказывал — заслушаешься!.. Алексей Петрович, а нельзя сюда зубного врача прислать, очень папаша зубами мучается?

— Неужто у него до сих пор сохранились зубы?

— Ага, зубы мудрости. Только шатаются и мешают ему.

— Давайте подумаем вместе, — предложил Алексей Петрович. — Врача прислать можно, но что он без кресла и всего оборудования

сделает?.. А в район Матвея Ивановича везти — растрясет, можно и не довести.

— Это точно,— вздохнула Даша.— Можно и не довести.

— Я посоветуюсь в поликлинике. Но как бы ни решили с этим вопросом, насчет главного — не сомневайтесь! — еще раз заверил Алексей Петрович.

— Не знаю, как и благодарить... А теперича пошли в избу, папаню слушать.

И мы последовали за Дашей.

Матвей Иванович лежал на кровати под одеялом одетый — виднелись носки толстой домашней вязки и заправленные в них брюки. Подойдя ближе, мы обнаружили косой ворот синей ситцевой рубахи и седую спутанную бороду. Лица не видно — спасаясь от мух, старик глубоко зарылся головой в подушку. Он не двигался и вроде не дышал. Все остальное воспринималось, как воскрешение Лазаря. Дочь стала раскачивать его за плечо, приговаривая не слишком громко:

— Папаня, проснись!.. Гости приехали!.. Папаня, гуленьки!.. Открой глазки, родной!.. Ну же!.. Покажи глазки!.. Ты же сопрел совсем и мух наглотался!.. Аиньки!..

Послышался слабый вздох, хрип, бормотанье. И вдруг целое облако летучей нечисти поднялось над стариком: откуда взялись все эти комары, мушки, мошки, слепни, жучки? Вспугнутые очнувшимся телом старика, они с сердитым гудом закружились над кроватью. Даша схватила тряпку и принялась стегать воздух. А на кровати творилась работа опаматования в жизнь. Хрипы усилились и перешли в слабый сухой кашель, тело заворчалось, и худая крупная кисть сдвинула прочь подушку. Появилось красное, распаренное лицо, большелобое, просторное, белобровое и белоусое. Открылись глаза — два мутно-голубых озера, похоже, не принявших брызнувшего в них света. Даша наклонилась и протерла подолом глаза отцу. Ему это было неприятно, он пытался отпихнуть дочь. А потом долго моргал, слезился, утирался кулаками, кряхтел, охал и вдруг отчетливо сказал: «Посади!»

Отвергнув помощь Геннадия, Даша привычно и сноровисто привалилась к отцу, обняла, потянула на себя, переведя в сидячее положение; за спину ему сунула подушку, а ноги спустила с кровати.

— Никого не знаю! — радостно сообщил старик, оглядев нас голубым чистым взором.— И тебя не знаю! — Это относилось персонально к Алексею Петровичу.

— Не придуряйся, папаша, это же Алексей Петрович. Ты его сто лет знаешь, он заместителем Советской власти был.

— Чегой-то он другой стал? — сказал Матвей Иванович.— Постарел, али приболел, али во грустях?..

— Все тут, Матвей Иваныч,— вздохнул Алексей Петрович.—

И годы бегут, и болезни прилипли. Давление, будь оно неладно. И до срока на пенсию отправили.

— А у меня зубы прорезываются,— пожаловался Матвей Иванович.— На кой они мне? Молочную кашку жевать?.. Я тебе, Петрович, вспомнил, ты человек у власти. Не вели Дашке корову продавать. Нешто можно без коровы?..

— Ладно, Иваныч, вопрос поставлен. Не волнуйтесь. Тут к вам гости из Москвы приехали.

— Не знаю их... Кто такие?

— Вот и познакомьтесь.— И Алексей Петрович поочередно представил нас старику. Тот каждому сунул холодную слабую руку.

Он совсем очнулся, взыграл, в нем пробудилась присущая здешним людям словоохотливость, издавна подогреваемая любопытством бесчисленных паломников в эту святую землю. К сожалению, его подъем пошел в ущерб отчетливости речи да и мысли, и я с моим теревиным слухом улавливал лишь отдельные, окрашенные сильным чувством выкрики:

— Воин наш отважный... Лексан Лексаныч, царствие ему небесное, всех турков побил... Он да Скобелев, белый генерал,— опора трону, щит Отечеству!.. Вот бы Лексан Сергеич порадовался, кабы дожил... А шебуршной был... и насчет этого самого... — старик, хитро глянув на дочь, поманил нас пальцем,— первый ходок... Сейчас кликнет: байно истопить!.. Я уж понимаю и по военной присяге: рад стараться!.. Как, ваше превосходительство, прикажете: пару — кваском али пивом?.. Натоль Львович пиво признавали, а Лев Натольич — шампанское... Гроб на руках несли до церкви... В глубокой скорби... Он к пиву всегда раков заказывал... Черненьких, однако, больше уважал, особо мордовочек... Курносенькие, спинки окатистые... Крепкий народ мордва, наших пластали... Лексан Лексаныч исключительно переживал: русский солдат знает одну команду: вперед!.. Сытый солдат крепше воюет... Уполовник в щах долён стоять, а валится — гони вон... пусть и андели с личика.

Я чувствовал, что у меня ум за разум заходит. Но глухота здесь ни при чем. Тетя Вера предупреждала, что в сознании прежних поколений — стало быть, и нынешних Мафусаилов — перепутались все Пушкины: поэт, его сын, брат и потомство брата. Но пусть с годами Матвей Иванович как народный пушкинист несколько сдал — ярк на нем болдинский свет. Его воодушевление, преданность пушкинскому роду и горячий в дряхлом сердце патриотизм вызывают искреннее восхищение.

И когда, распрощавшись с приуставшим стариком, мы вновь оказались на улице, то сказали Даше-Варваре самые добрые и уважительные слова об ее отце.

— Он хороший старик,— она коротко всхлипнула,— но, конечно, памятью ослабемши. Праправнучка Пушкина из Архангельска

приезжает, случáя не было, чтобы папану не навестила. Она и надьсь приходила, а он ее не узнал. И никак не мог понять, кем она Пушкину приходится, раз у нее другая фамилия. Папаня очень разволновался и решил, что Пушкина переименовали и теперича он — Гибшман.

— А вы так всю жизнь здесь и прожили? — спросил Маликов.

— Ага. Я же не девка, не баба. Только перед войной замуж выскочила, как мово забрали. Так и осталась я при родителях. Разве после войны второй раз замуж выйдешь? Тут такие красоточки на всю жизнь запаровали. Что уж мне говорить? Я не жалуясь, — и улыбнулась.

Чему могла она так мило, нежно, так молодо улыбнуться? Лишь своему внутреннему свету...

В этот день мы побывали и в других хороших местах. Прежде всего в Казаринове, где посмотрели гончарное производство, пожали руку главному мастеру и приобрели — за бесценок — кучу милых вещиц из обычной красной глины. Что касается кринков и кувшинов из черной глины, то тетя Вера оказалась права: их надо заказывать загодя. По форме они просты и незамысловаты, красоту им придает цвет, исчерна-стальной, и фактура — это не грубая накладная гладкость обливных изделий, а естественная, будто изначально присущая материалу, ласкающая прохладная шелковистость. Мы спросили гончара, почему в изделиях из черной глины не портятся продукты. Видать, это принадлежит к секретам ремесла, он ответил резко: «А почему я знаю, я не Пушкин!» Маликов попросил уточнить, какого Пушкина он имеет в виду. «Ясно какого, — серьезно ответил гончар. — Льва Анатольича, что Болдино в казну продал. Он тут все, поди, разноухал».

Поплутали мы и по разбросанному, взъерошенному какому-то Кистеневу. Дома стоят по солнцу — то боком, то задом к улице. Здесь некогда жил озорной народ, о чем говорят названия улиц: Бунтовка, Самодуровка, Стрелецкая; лишь одну улицу, приютившую тихое, небойцовое население, так и оставили без названия — Улица. Правда, управляющий Калашников в свое царение так «изнурил» кистеневцев, что поубавилось у них воинственного духа. И все же мы испытали легкий трепет, когда на Бунтовке, а может, Самодуровке нас огарнули возбужденные бабы. Нет, то были не разбойные амазонки, а мирные труженицы, принявшие нас за скупщиков телят. Нетерпеливо ожидали кистеневцы богатых гостей из под Казани, чтобы сбрызнуть им нетелей и бычков, добиравших последнюю вялую, пожухлую траву с выгоревших летом пастбищ. Сена заготовили с воробьиный нос. Но торговые люди почему-то запаздывали. Обнаружив свою ошибку, кистеневские жительницы отнеслись к ней с той легкостью, что кажется разлитой в болдинском воздухе, и вступили с нами в радостное и открытое общение.

Отсюда мы поехали к роще Дубровского, лежащей на холмах, омываемых чистыми, незамутненными водами речки Пьяны. Поднялись на холм... Не стану врать, что меня волнует зрелище мест, связанных с великими литературными произведениями, будь это Ауэрбах-келлер в Лейпциге, двор в районе Сенной площади или роща на взлобке холма. Надо бы замирать от восторга: здесь творил свои чудеса Мефистофель, здесь мыкался Раскольников, сюда горящие разбойники унесли атамана, раненного пулей князя Верейского. Меня все это не умиляет, скорее, злит. Ведь, читая «Фауста», «Преступление и наказание», «Дубровского», я создавал — по авторским подсказкам — свой мир, свою обстановку действия, естественно не совпадающую с настоящим ауэрбаховским погребом, где я не раз пил пиво, с нынешней Сенной, и, наконец, с тем лесом, который тихо шелестел листьями перед нами. Зримая однозначность прообраза разочаровывает. В воображении все это зыбче, размытее и... богаче. Готовая, окончательная тяжеловесность материи не может тягаться с видениями, разбуженными поэтом в сопереживающей душе.

И я повернулся спиной к легендарной роще и стал смотреть на клонящийся под ветром ковыль, на излучины Пьяны, на всю окрестность, которая с этого нерослого всхолмья открывалась поразительно широко, совсем как у Гоголя в «Страшной мести», когда «вдруг стало видимо далеко во все концы света». Ничто не потрясает меня в самой страшной, ужасной и самой поэтической повести Гоголя так, как эта необъяснимая, таинственная фраза. Из какого опыта родилась она? Даль не дает себя так проглянуть, даже если не загромождена ни лесами, ни горами, ни тучами, она ограничена линией горизонта, а это не столь далеко, как у Гоголя. На некоторых полотнах Петрова-Водкина очень далеко видно, даже ощущается кривизна земной поверхности. Но ведь Петров-Водкин был художником нашего времени, когда зрение человека бесконечно расширено авиацией, техникой и знанием о мире. Но и нам, во всеоружии нашей дальнорзости, даль туманится, а у Гоголя — и самое отдаленное так отчетливо, как и самое близкое, и это невероятно, дивно и страшно, аж дух захватывает. С холма, поросшего ковылем, тоже очень далеко видно, с полной отчетливостью, лишь в последнем отдалении легкий кур создает преграду зрению. И все время, что мы провели здесь, тянул ровный, мягкий, теплый ветерок.

— Странное дело, — сказал Алексей Петрович, — здесь всегда, в любое время, веет такой вот легкий ветер. Только в крещенские и сретенские морозы замирает.

Может, этим таинственным веем и насыщается на Болдино тот легкий воздух, от которого люди взмывают над бытом, начинают петь, рукодельничать, лепить загадочные сосуды, фантазировать, сочинять — устно и письменно?..

Тетя Вера не забыла о своем обещании устроить вечер хорошего пения и пригласила к ужину двух главных певцов: соседку тетю Пашу, запевалу, и тетю Настю с неутомимым горлом. В елейных брошюрках о Болдине тетя Паша изображается степенной, многоумной старухой, что никак не соответствует ее живому образу. Ума и жизненного опыта ей не занимать стать, но степенности — никакой, — маленькая, круглая, как мячик, быстрая и улыбчивая, тетя Паша — озорница и насмешница. Мы уже не раз виделись, но тетя Паша всегда куда-то торопилась и не позволяла затащить себя к столу. Сейчас она явилась принарядившаяся, немного торжественная, только в крошечных зеленых глазках бегали чертенята, и с достоинством заняла почетное место во главе стола.

— Кашлять не будешь? — озабоченно спросила тетя Вера.

— Не, сперва чайку поплю, спую песню-другую, а там уж покашляю, — заверила тетя Паша.

У тети Паши «нет терпения на докторов», а главное, она не может вспомнить, как надо принимать пилюли. Она спохватывается вечером и берет их за один присест — жменей. «Ну, и помогает?» — улыбнулся Маликов. «Не скажу, зато мутит всю ночь! — жизнерадостно отозвалась тетя Паша. — Вы за кашель не переживайте. У меня сейчас в груди сухо и просторно».

Наша тетя Вера тоже не ударила в грязь лицом: надела красивую черную юбку, новый платок повязала, а на плечи кинула шаль с крупными цветами по лиловому фону. Подруг подобрали по старому, проверенному способу контраста, безошибочно рассчитанному на добрую улыбку: Дон-Кихот и Санчо Панса, Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак, Пат и Паташон. И как перечисленные герои, они разнились не только обликом, но и внутренней сутью: длинная, худая тетя Вера — сплошная духовность; сдобная пышка тетя Паша — воспаряет лишь в пении. Вне этого она вся принадлежит земле, охотно отдавая дань ее плодам, впрочем, тут ею движет, скорее, любопытство, нежели чревоугодие. Хочется всего попробовать, — она набрала гору снеди в тарелку и почти все оставила. Подошедшая чуть позже — внуков укладывала — тетя Настя, монументальная и довольно угрюмая с виду старуха, оказавшаяся на редкость заводной, иронично-затейливой, объявила, что, в отличие от своих подруг, всегда была заядлой грибницей, но убеждена, что самый лучший гриб не белый, не рыжик и не чернуха, а колбаса. Этот гриб в болдинских местах отчего-то вывелся.

Хлебнув хорошо заваренного Геннадием чая, тетя Паша со вкусом

определила:

— Индейский!..— И вдруг запела на невысшимых верхах:

Не глядите вы на нас,
Глазки поломаете.

И подруги подхватили:

Мы ведь пушкинские были,
Разве вы не знаете?..

— О, частушка! — обрадовался Маликов. — Я столько слышал о болдинских частушках!

— Засохни! — прикрикнула тетя Вера. — Слушай песни, Натоль, и помалкивай.

Светит солнышко, да не по-летнему... —

высоко-высоко взвинтила песню тетя Паша.

Эх, любит меня милый, да не по-прежнему.

И сплелись, как тугая девичья коса, три голоса:

Эх, любит меня милый, да не по-прежнему-у-у!..

Сомкнулись сухие старушечьи губы, а долгая высокая нота все текла, замирая, но не замерла, а унеслась в открытое окошко и стала частицей жизни пространства.

Это трио стоило целого хора, никого больше не нужно, было все: и звень, и стон — птицы, ветра, вьюги, и «грома грохотанье». «Октава» тети Веры создавала тревожный, трагический фон, словно то не женская, а вселенская боль тщится себя размыкать. Что за чудо такое — тетя Вера! Пушкин, что ли, дохнул на нее из своего далека? Или старая крестьянка и давно ушедший великий поэт овеваны одним легким ветерком, тем самым, что серебрит ковыль на холмах, омываемых Пьяной? Ветерок веет на простых людей и приобщает их души к чему-то высшему, он опахнул гения — и взметнулось пламя.

Никогда еще я не чувствовал так сильно и сердечно все очарование старинного, медлительного, околдованного и завораживающего напева.

Не ругай-ка, милый, да не брани меня,
Эх, я и так горька-несчастлива, что... что
люблю тебя!..

У них был благородный обычай: не домогаться долгих упрасиваний перед очередной песней — не успеет замереть последняя нота, а тетя Паша уже заводит новую. И какая энергия была в ее прибабливающей груди, когда она, ничего в себе не жалея и не щадя, сразу подняла в поднебесье слезную жалобу:

Ивушка-ивушка, ракитовый кусток.
Травушка-травушка, лазоревый цветок.
Что же ты, ивушка, невесело стоишь?
Как же мне, ивушке, веселую быть?..

А ивушке и впрямь нечего радоваться: сверху ее красным солнышком печет, сбоку дождем сечет, а корни ей ключ размывает. Но это лишь присказка к беде, а настоящая беда пришла с боярами из иного города, что срубили ивушку в четыре топора. Из деревца бояре сделали лодочку и два весла и поехали гулять, захватив с собой красну девушку. И, как нередко бывает в старинных песнях, происходит вселение печальной ивы в девушку, томящуюся горем-кручиной. Живущие неправдой батюшка с матушкой «младшую сестру прежде замуж отдают».

Младшая сестра чем же лучше меня?
Ни прясть, ни ткать, ни початки мотать.
Только по воду ходить, решетом воду ловить.

Ох, с каким сарказмом прозвучало убийственное для сельской девушки обвинение в никчемности и бесполовости! Но дороже родительскому сердцу эта пустельга, и, пропади все пропадом, обиженная и обойденная девушка, видать, разделит судьбу ивушки, срубленной в четыре топора. Об этом поется уже не песней, а изломом бровей, меркнувшим взглядом певуний...

Они поют много и долго. Кинут в рот хлебного мякушка, освежатся глотком «индейского» чая и опять — к песне. И все-таки тетя Паша перетрудила грудь — закашлялась. Тетя Настя стала колотить ее увесистым кулаком между лопаток, тетя Вера развела в кипятке меду и дала выпить.

— Очистило, — улыбнулась тетя Паша. — А всежки я отпелась.

— Все мы, милка, отпелись, — отозвалась тетя Настя. — Но покаместь землей не засыпят, будем горло драть.

Упрямый Натоль снова вспомнил о частушках, посвященных Пушкину.

— Экой ты настырный! — укорила его тетя Вера.

— Да ну тебя — воспитательница с детского сада! — отмахнулась тетя Паша и каким-то расхристанным голосом прокричала:

Алексан Сергеич Пушкин,
Мою Ниночку не трожь,
Не встречайся на опушке,
Не зови в густую рожь!..

— Тьфу на вас! Бесстыжие! — разъярилась тетя Вера. — Прогоню, ей-богу, прогоню. Разошлись, как с бормотухи.

— Мы ничаво, — без тени смущения сказала тетя Настя. — А

если ученый человек просит, почему не уважить. Ему небось для науки надобно.

— Какой он ученый? Обыкновенный инженер, как все.

— Будто сама их сроду не пела,— подколола тетя Паша.

— Пела, когда глупая была. А сейчас не люблю... Ладно, жуйте колбасу. А ты, Пашунчик, погрей горло чайком. Маркыч, уважь ее чаешкой.

Тетя Вера выждала, пока я перестану бренчать посудой, и поболдински, без разгона ахнула с диким напором:

Полюбил всей душой я девицу
И готов за нее все отдать.
Жемчугóm разукрашу светлицу,
Золотую поставлю кровать...

Я-то считал это старым городским романсом, а тут — библейское: влюбленный грозит отомстить за измену так, что «содрогнется и сам сатана»! Тетя Вера пела с какой-то черной страстью, но едва приметная усмешка порой трогала уголки сухих губ — старая умная женщина понимала, что слова этой сильной, губительной песни далеко не пушкинские. Но был на ней самой пушкинский свет, как был болдинский свет на Пушкине...

СОДЕРЖАНИЕ

Посланец таинственной страны	3
Морелон	12
Прекрасная лошадь	21
Колокольня	27
Болдинский свет	39

Юрий Маркович НАГИБИН
ПОСЛАНЕЦ
ТАИНСТВЕННОЙ СТРАНЫ

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 10.06.85. Подписано к печати 09.08.85. А 04608. Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,10. Усл. кр. отт. 2,98. Тираж 85 000. Изд. № 1922. Зак. № 980. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография издательства ЦК КПСС «Правда» имени В. И. Ленина, 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды»,

ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ!

● В книжных магазинах книготоргов и потребсоюзов Российской Федерации книги можно не только купить, но и приобрести их по выигрышным билетам Всероссийской книжной лотереи.

● Стоимость билета 25 копеек. Сумма выигрыша (50 копеек, 1, 3 и 5 рублей) указана на внутренней стороне запечатанного билета.

● Вероятность выигрыша велика, так как из каждых 200 билетов — 69 выигрышных!

● По выигрышным билетам можно приобрести любую книгу или другие печатные издания по своему выбору из наличного ассортимента книжного магазина или киоска.

● Если сумма выигрыша меньше стоимости выбранной вами книги, можно произвести доплату наличными деньгами.

● Прочитанные книги вы можете предложить книжным магазинам для повторной продажи. Этим вы окажете добрую услугу другим книголюбам.

Росглавкнига
Дирекция Всероссийской книжной лотереи
книготорг